

Учитель Гнус

Глава первая

Фамилия его была Нусс, но вся школа называла его Гнусом. Ничего удивительного в этом не было. Прозвища учителей время от времени менялись. Обновленный состав класса кровожадно открывал в учителях комические черты, недостаточно оцененные прошлогодними учениками, и спешил заклеить их метким словечком. Но Гнус назывался Гнусом во многих поколениях; к этому прозвищу привык весь город, коллеги иначе не именовали его вне стен гимназии, и даже в ее стенах, едва только он поворачивался к ним спиной. Учителя, державшие у себя на хлебников-гимназистов и следившие за их домашними занятиями, не стеснялись говорить об учителе Гнусе. Если бы какой-нибудь бойкий мальи, внимательно присмотревшись к наставнику шестого класса, вдруг вздумал окрестить его новым именем, из этого бы ровно ничего не вышло хотя бы уж потому, что привычное прозвище и сейчас бесило старого учителя не меньше, чем двадцать шесть лет назад. Достаточно было при его появлении на школьном дворе кому-нибудь крикнуть: «Да ведь здесь пахнет какой-то гнусью!» или: «Ой-ой-ой! Что за гнусная вонь!» — старик тут же вздергивал плечо, всегда правое, которое и без того было выше левого, и бросал из-под очков кривой взгляд на крикуна. Гимназисты считали этот взгляд коварным, на деле же он был только трусливым и мстительным — взгляд тирана с нечистой совестью, ищущий кинжал в складках любого плаща. Одеревенелый подбородок Гнуса с жидкой бурой бородачкой начинал ходуном ходить. Не имея возможности «уличить» крикуна, он поневоле пробирался дальше на своих тощих, искривленных ногах, глубже нахлобучив на лоб засаленную фетровую шляпу.

В прошлом году в день Гнусова юбилея гимназисты устроили факельное шествие к его дому. Он вышел на балкон и стал держать речь. И в то время, как все, задрвав головы, смотрели на него, вдруг раздался чей-то противный скрипучий голос: — Какой гнусный воздух!

Другие тотчас же откликнулись:

— Да, пахнет гнусью! Пахнет гнусью!

Учитель там, наверху, хотя предвидевший возможность такого происшествия, стал запинаться и смотреть крикунам прямо в открытые рты. Коллеги его стояли неподалеку; он чувствовал, что опять ему никого «уличить» не удастся, но запомнил все имена. Уже на следующий день учитель заверил юнца со скрипучим голосом, не знавшего, как называется деревня, где родилась Орлеанская дева{2}, что он еще не раз сумеет «подпортить» жизнь такому нерадивому ученику. И правда, этот Кизелак остался на второй год, а заодно с ним и почти все, кто кричал тогда, на юбилее, к примеру, фон Эрцум. Ломан, правда, не кричал, но все-таки остался. Ломан облегчил задачу Гнуса своей леностью, Эрцум — отсутствием способностей. И вот поздней осенью, в одиннадцать часов утра, на перемене, предшествовавшей классному сочинению об Орлеанской деве, фон Эрцум, который и поныне был с нею не в ладах и потому предвидел катастрофу, в приступе мрачного отчаяния распахнул окно и дурным голосом крикнул в туман:

— Гнус!

Он не знал, во дворе ли учитель, да, собственно, этим и не интересовался.

Бедняга, недоросль из помещичьих сынков, просто поддался желанию еще хоть на миг дать волю своим легким, прежде чем на два часа усесться перед белым листом бумаги, пустым листом, который ему предстояло заполнить словами, выжатыми из пустой головы. На беду, Гнус в это время шел по двору. Услышав крик из окна, он подскочил как ужаленный. Сквозь туман ему удалось различить контур коренастой фигуры фон Эрцума. Внизу не было никого из гимназистов, следовательно, и возглас ни от кого другого исходить не мог. «На сей раз, — торжествуя, подумал Гнус, — он имел в виду меня, и я поймал его с поличным». В несколько прыжков он взбежал по лестнице, рванул классную дверь, торопливо прошел между скамеек и, вцепившись ногтями в кафедру, взобрался на ее ступеньки. Там он остановился и перевел дыхание. Гимназисты встали, чтобы приветствовать его, и многоголосый шум вдруг

переплеснулся в почти оглушающее молчанье. Мальчики смотрели на своего наставника, как на опасное разъяренное животное, которое они, к несчастью, не вправе прикончить и на чьей стороне в данный момент имеется перевес. Грудь учителя бурно вздымалась; наконец он проговорил сдавленным голосом:

— Мне вслед опять выкрикнули некое слово, прозвище, суммируя — кличку, которую я впредь сносить не намерен. Я не потерплю такого издевательства со стороны людей, подобных вам, а вас я уже узнал, извольте это запомнить! Я буду ловить вас с поличным, где только смогу. Не говоря уже о том, что ваша испорченность, фон Эрцум, внушает мне брезгливое чувство, она теперь разобьется вдребезги о непреклонность принятого мною решения, извольте запомнить! Я сегодня же доложу господину директору о вашем поступке и сделаю все от меня зависящее, чтобы, — ясно, как божий день, — в стенах нашей гимназии больше не находились столь презренные подонки человеческого общества.

С этими словами он сбросил с себя шинель и прошипел:

— Сесть!

Весь класс сел, только фон Эрцум продолжал стоять. Его толстое веснушчатое лицо было таким же огненно-красным, как и щетина на его голове. Он хотел что-то сказать, открывал рот, но язык ему не повиновался. Наконец он выпалил:

— Это не я, господин учитель!

Несколько голосов дружно и самоотверженно поддержали его:

— Это не он!

Гнус затопал ногами:

— Молчать!.. А вы, молодой человек, — извольте принять к сведению, — не первый носитель имени фон Эрцум, которому я испортил карьеру; будьте уверены, что в дальнейшем я сумею если не окончательно сорвать ваши планы, то, во всяком случае, изрядно затруднить вам осуществление таковых. Вы, кажется, хотите стать офицером, фон Эрцум? Ваш дядюшка тоже этого хотел. Но поскольку он никак не мог дойти до конца соответствующего класса и ему всякий раз отказывали — прошу заметить — в аттестате зрелости, необходимом для поступления в вольноопределяющиеся, то он поступил в подготовительную школу, где тоже не справился с учением, и лишь благодаря особой милости государя ему открылась наконец военная карьера, которую он, впрочем, вскоре вынужден был прервать. Пойдем дальше! Судьба вашего дяди, фон Эрцум, станет и вашей судьбой, во всяком случае будет сходствовать с нею. Желаю вам успеха на этом поприще, фон Эрцум. Мое суждение о вашей семье остается неизменным уже в продолжение пятнадцати лет... А теперь... — Голос Гнуса сделался замогильным. — Вы недостойны своим бездушным пером марать возвышенный облик девицы, к воссозданию которого мы сейчас приступим. Марш отсюда — в каталажку!

Тугодум фон Эрцум продолжал слушать. От чрезмерного внимания он бессознательно повторял движение челюстей учителя. Когда Гнус говорил, его нижняя челюсть, в которой торчало несколько желтых зубов, точно на шарнирах, двигалась между одеревенелыми складками, залегшими около рта, так что слюна брызгала на передние парты. Он заорал:

— Да как вы смеете, мальчишка!.. Вон, говорят вам, в каталажку!

Фон Эрцум встрепенулся и стал выбираться из-за парты. Кизелак прошептал ему вслед:

— Да защищайся же, дружище!

Ломан, сидевший сзади, приглушенным голосом пообещал:

— Погоди, мы его еще укротим.

Осужденный прошмыгнул мимо кафедры в тесную и темную — хоть глаз выколи — комнатку, служившую классной раздевальной. У Гнуса вырвался стон облегчения, когда широкая фигура фон Эрцума исчезла за дверью.

— Теперь нам нужно наверстать время, похищенное у нас этим мальчишкой. Вот вам тема, Ангст, напишите ее на доске.

Первый ученик близорукими глазами вгляделся в записку и принялся неторопливо писать. Все напряженно следили за буквами, которые выводил мелок и от которых столь многое зависело. Если это окажется сцена, которую тот или иной ученик

случайно не «вызубрил», тогда он «пропал», «завалился». И еще до того, как слоги на доске приобрели смысл, все из суеверия бормотали:

— Господи, я завалился!

Наконец на доске уже можно было прочесть: «Иоанна. Ты произнес пред богом три молитвы.. (Орлеанская дева, действие первое, явление десятое.) Тема: третья молитва короля»{3}.

Прочитав эти слова, все переглянулись. «Завалились» все. Гнус всех «сцапал». Криво усмехнувшись, он уселся в кресло на кафедре и начал листать свою записную книжку.

— Итак? — не подымая глаз, вопросительно произнес он, словно всем все было ясно. — Что вам еще угодно узнать?.. Начали!

Многие мальчики ссутулились над тетрадями, притворяясь, что уже пишут. Другие невидящим взглядом смотрели в пространство.

— В вашем распоряжении имеется еще час с четвертью, — безразличным тоном, но внутренне ликуя, объявил Гнус. Такой темы для сочинений не изобретал еще никто из возмутительно бессовестных учителей, знавших о печатных шпаргалках, которые давали мальчишкам возможность без труда проанализировать любую сцену из классического произведения.

Кое-кто помнил десятое явление первого действия и с грехом пополам знал первые две молитвы Карла. О третьей ни один человек в классе понятия не имел. А первый ученик и еще двое или трое, в том числе Ломан, готовы были поклясться, что отродясь ее не читали. Ведь король просил пророчицу повторить только две из его молитв; для него этого было достаточно, чтобы поверить в ее божественное предназначение. Третьей там, хоть убей, не было. Наверно, ее надо искать в другом месте, а может быть, она сама собой явствует из хода событий или же сбывается так, что никому и невдомек, что это сбывлась молитва. Верно, они проглядели в драме какое-то место, это допускал даже первый ученик Ангст. Но так или иначе, а чего-нибудь наговорить об этой третьей молитве надо; даже о четвертой и пятой, если бы Гнус этого потребовал. Писать о вещах, в реальность которых никто ни на грош не верил — о верности долгу, о благотворном влиянии школы, о любви к военной службе, — то есть покрывать буквами положенное число страниц, их, слава тебе господи, приучали годами на уроках немецкого языка. Тема ни в малейшей степени их не интересовала, но они писали. Произведение, из которого она была почерпнута, уже месяцами служившее одной только цели — «завалить» их, давно им осточертело, но они писали.

«Орлеанской девой» класс занимался с пасхи, то есть уже три четверти года. А второгодники и подавно знали ее вдоль и поперек. Ее читали с начала и с конца, заучивали наизусть целые сцены, давали к ней исторические пояснения, на примерах из нее изучали поэтику и грамматику, перекладывали стихи в прозу и, обратно, прозу в стихи. Для всех, при первом чтенье ощутивших сверкающую прелесть ее стихов, они давно поблекли. Мелодия стала неразличима в звуках разбитой шарманки, изо дня в день скрипевшей одно и то же. Ни до кого уже не доносился чистый девичий голос, в котором вдруг начинает звучать суровый звон мечей, слышится биение сердца, больше не прикрытого панцирем, и шелест ангельских крыльев, распростертых светло и грозно. Юношам, которых со временем повергла бы в трепет почти сверхчеловеческая непорочность этой пастушки, тем, что полюбили бы в ней торжество слабости, плакали бы над душевным величием бедняжки, оставленной небесами и превратившейся в робкую, беспомощно влюбленную девочку, уже не доведется так скоро это пережить. Пройдет лет двадцать, прежде чем Иоанна перестанет быть для них докучливой педанткой.

Перья скрипели. Учитель Гнус, теперь уже ничем не занятый, смотрел куда-то вдаль поверх склоненных голов. День выдался удачный, ибо одного ему все-таки посчастливилось «сцапать», и вдобавок одного из тех, что называли его «этим именем». Теперь можно надеяться, что и весь год будет хорошим. В продолжение двух последних лет ему ни разу не удалось «сцапать» ни одного из этих коварных крикунов. Плохие это были годы. Хорошими или плохими годы считались в

зависимости от того, удавалось ему кого-нибудь «поймать с поличным» или не удавалось «за отсутствием доказательств».

Гнус, знавший, что ученики его обманывают и ненавидят, и сам считал их заклятыми врагами, с которыми надо построже «расправляться» и не давать им дойти до конца класса. Проведя всю жизнь в школах, он не умел смотреть на мальчиков и их дела взглядом взрослого, житейски опытного человека. У него отсутствовала перспектива, и сам он был точно школьник, внезапно облеченный властью и возведенный на кафедру. Он говорил и думал на их языке, употреблял выражения, заимствованные из жаргона школяров, и раздевальню называл «каталажкой». Начинал он урок в том стиле, к которому прибегают бы любой школьник, окажись он на его месте, а именно латинизированными периодами, вперемену с бесконечными «право же, конечно», «итак, следовательно» и прочими ничего не значащими словечками. Эта привычка выработалась у него благодаря изучению Гомера с восьмиклассниками, когда каждое слово обязательно подлежало переводу, как бы тяжело и нелепо оно ни звучало на другом языке. С годами тело Гнуса окостенело, утратило подвижность, и такой же неподвижности он стал требовать от школьников. Он забыл, а может быть, никогда и не знал о потребности молодого организма, — все равно, будь то мальчик или щенок, — бегать, шуметь, награждать кого попало тумаками, причинять боль, изобретать шалости, словом — самыми нелепыми способами освобождаться от излишка сил и задора. Он наказывал их, не думая, как думает взрослый человек: «Вы, конечно, озорники, так вам и положено, но я-то обязан поддерживать дисциплину», — а злобно, со стиснутыми зубами/ Гимназию и все в ней происходящее он принимал всерьез, как самую жизнь. Лень приравнивалась к испорченности и туеядству, невнимательность и смешливость — к крамоле, стрельба горохом из пугача была призывом к революции, «попытка ввести в заблуждение» считалась бесчестным поступком и несмыслаемым пятном позора. В таких случаях Гнус становился бледен как полотно. Когда ему случалось отправить одного из мальчиков в «каталажку», он чувствовал себя самодержцем, сославшим в каторжные работы кучку мятежников, — то есть ощущал всю полноту власти и одновременно содрогался при мысли о том, что подкапываются под его престол. Побывавшим в каталажке, да и всем, кто когда-либо задел его, Гнус этого не прощал. А так как он уже четверть века подвизался в местной гимназии, то город и вся округа были полным-полны учеников, либо «пойманных с поличным», либо «не пойманных», и все они называли его «этим именем». Для него школа не заканчивалась дворовой оградой; она распространялась на все дома в городе и в пригороде, на жителей всех возрастов. Повсюду засели строптивые, отпетые мальцы, не выполняющие домашних заданий и ненавидящие учителя. Новичок, не раз слышавший, как его старшие родичи с добродушной усмешкой вспоминают о досаждавшем им в далекой юности учителе Гнусе, попав после пасхальных каникул в его класс, при первом же неправильном ответе слышал злобное шипенье:

— У меня уже было трое ваших. Я ненавижу вашу семейку.

Гнус на своем возвышении наслаждался мнимой безопасностью, а тем временем назревала новая беда. Она исходила от Ломана.

Ломан быстро справился с сочинением и перешел к занятиям сугубо личного характера. Но дело у него не двигалось, так как он страдал за своего друга фон Эрцума. Взяв на себя роль морального опекуна этого юного здоровяка-дворянчика, он считал делом чести по мере сил прикрывать своим умом умственное слабосилие друга. В момент, когда Эрцум готовился выпалить какую-нибудь неслыханную глупость, Ломан начинал громко кашлять и подсказывал ему правильный ответ. Дурацкие ответы Эрцума он оправдывал перед товарищами, уверяя, что тот просто-напросто хотел довести Гнуса до белого каления.

У Ломана была пышная черная шевелюра, одна прядь постоянно выбивалась и меланхолически ниспадала на лоб. Лицо его отличалось люциферовой бледностью и на редкость выразительной мимикой. Он писал стихи в духе Гейне и был влюблен в тридцатилетнюю даму. Увлеченный изучением литературы, он уделял очень мало внимания гимназическим занятиям. Учительский совет, заметив, что Ломан начинает налегать на ученье только в последнем квартале, дважды оставлял его на второй

год, несмотря на то что ему и вправду удавалось подтянуться в последние дни. Поэтому Ломан, так же как его друг, в семнадцать лет сидел среди четырнадцати- и пятнадцатилетних мальчишек. И если Эрцум выглядел на все двадцать благодаря своему физическому развитию, то Ломан казался старше своих лет, потому что на нем лежала «печать духа».

Какое же впечатление мог производить на такого Ломана деревянный паяц там, на кафедре, чурбан, страдающий навязчивыми идеями? Когда Гнус его вызывал, Ломан неторопливо откладывал книжку, не имеющую ни малейшего отношения к уроку, хмурил широкий, бледный до желтизны лоб, смотрел из-под презрительно опущенных век на своего жалкого и злобного наставника, на пыль, въевшуюся в его кожу, на перхоть, осыпавшую воротник мундира, и, наконец, переводил глаза на свои тщательно отполированные ногти. Гнус ненавидел Ломана чуть ли не больше, чем всех остальных, за его нестигаемое упорство и, пожалуй, еще за то, что Ломан не называл его «этим именем», а значит, злоумышлял что-нибудь еще более каверзное. Ломан при всем желании не мог отвечать на ненависть этого жалкого старика иначе как холодным пренебрежением, хотя и с некоторой примесью брезгливого сострадания. Но оскорбление, нанесенное другу, он воспринял как вызов, брошенный ему, Ломану. Из всех тридцати учеников он один счел низостью публичное поношение дяди фон Эрцума. Нельзя позволять этому шутовскому гороховому слишком уж зарываться. Итак, Ломан решился. Он встал, оперся руками о парту, с любопытством посмотрел учителю прямо в глаза и проговорил спокойно и сдержанно:

— Я не могу больше работать, господин учитель. Здесь нестерпимо гнусный воздух. Гнус подскочил как ужаленный на своем кресле, простер руку, призывая к молчанию, челюсти его беззвучно задвигались. К этому он не был подготовлен — особенно сейчас, ведь он только что угрожал одному из «отчаянных» исключением из гимназии. Поймать сейчас этого Ломана с поличным? Лучшего и желать нельзя. Но... будет ли это считаться «с поличным»?.. В это самое роковое мгновение маленький Кизелак поднял вверх синюю руку с обкусанными ногтями, щелкнул пальцами и сердито пробурчал:

— Ломан не дает мне сосредоточиться, он все время говорит, что здесь гнусно воняет.

В классе захихикали, зашаркали ногами. Гнус, чувствуя, что повеяло ветром мятежа, впал в панику. Он вскочил, наклонился над попитром, стал размахивать руками направо и налево, словно отражая удары бесчисленных врагов, и заорал:

— В каталажку! Всех в каталажку!

Шум продолжался; Гнус решил, что спасти его могут только крайние меры. Никто и опомниться не успел, как он ринулся на Ломана, схватил его за руку, дернул и сдавленным голосом крикнул:

— Вон отсюда, вы недостойны пребывать в человеческом обществе!

Ломан встал и последовал за ним со скучливым и сердитым видом. У двери Гнус рванул его за плечо и попытался пропихнуть в раздевальню; из этого ничего не вышло. Ломан почистил рукой место, до которого дотронулся Гнус, и размеренным шагом направился в каталажку. Гнус обернулся, ища глазами Кизелака. Но тот за его спиной уже протиснулся к двери и, скорчив рожу, скрылся в «арестном доме». Первый ученик вынужден был объяснить учителю, куда исчез Кизелак. Гнус незамедлительно потребовал, чтобы класс никакими происшествиями не отвлекался больше от Орлеанской девы.

— Почему вы не пишете? Вам осталось пятнадцать минут. Незаконченные работы я — опять-таки — проверять не буду.

После этой угрозы у мальчиков окончательно вылетело из головы все, касающееся Орлеанской девы, лица у них стали испуганными. Но Гнус был слишком взволнован, чтобы этому радоваться. Он жаждал сломить всякое еще возможное сопротивление, предупредить любое непокорство, усмирить все вокруг, водворить в классе кладбищенскую тишину. Все три повстанца были схвачены, но их тетради лежали — на партах, и каждая страница дышала крамолой. Гнус взял эти «вещественные доказательства» и пошел на кафедру.

Сочинение Кизелака было набором вымученных нескладных предложений, свидетельствовавших разве что о добрых намерениях. У Ломана удивительно было отсутствие плана, подразделения на А, В, С и 1, 2, 3. Вдобавок он успел написать одну только страницу, которую Гнус и пробежал глазами со все возрастающим гневом. На ней стояло:

«Третья молитва короля (Орлеанская дева. I. 10).

Юная Иоанна с ловкостью, поразительной в ее возрасте и при ее крестьянском происхождении, благодаря хитроумному фокусу проникает ко двору. Она рассказывает королю содержание тех трех молитв, которые он прошедшей ночью вознес к богу; своим умением читать мысли она, натурально, производит сильнейшее впечатление на невежественных придворных. Я упомянул о трех молитвах, на деле же она излагает только две, о третьей и без того убежденный ею король уже не спрашивает. И, надо сказать, на ее счастье, ибо ей вряд ли удалось бы изложить эту молитву. В первых двух она уже сказала все, о чем он мог бы просить господа бога, а именно: если отомщены еще не все грехи его предков, то пусть жертвою падет он, а не его народ, и, если уж ему суждено утратить царство и корону, то пусть господь сохранит ему покой, друга и возлюбленную. На главном, то есть на власти, он уже поставил крест. О чем же ему еще просить? Не будем ломать себе голову: он этого сам не знает. Не знает и Иоанна. И Шиллер тоже не знает. Поэт ничего не утаил из того, что знал, но тем не менее добавил «и так далее». Вот весь секрет, и тот, кому понятна беззаботная природа поэта, ничуть этому не удивится».

Точка. Это было все. Гнус, дрожа мелкой дрожью, немедленно сделал вывод: устранить этого ученика, избавить человечество от такой заразы – куда важнее, чем выжить из гимназии простака фон Эрцума. Он бросил торопливый взгляд на следующую страницу; наполовину вырванная, она болталась в тетради, но и на ней было что-то нацарапано. И в момент, когда он понял, что именно, точно розовое облако прошло по его морщинистым щекам. Он быстро, вороватым движением захлопнул тетрадь, притворяясь, что ничего не заметил, затем снова раскрыл ее, тотчас же сунул под две другие и с трудом перевел дух, истомленный борьбой.

Он отчетливо понимал: теперь пора; этот должен быть «пойман с поличным».

Человек, который дошел до того, что... эту – так сказать – артистку Розу... Розу... Он в третий раз схватился за Ломанову тетрадь. Но тут зазвенел звонок.

– Сдавать тетради! – крикнул Гнус, страшно волнуясь оттого, что какой-нибудь мальчишка, не успевший закончить сочинение, в последнюю минуту еще, чего доброго, заработает удовлетворительный балл. Первый ученик стал собирать тетради; несколько человек уже осаждали дверь в раздевальню.

– Прочь оттуда! Ждать! – заорал Гнус в новом приступе страха. Больше всего на свете ему хотелось запереть дверь и продержат этих трех мерзавцев под замком, покуда их гибель не станет самоочевидной. Но тут нельзя действовать второпях, надо все обдумать и взвесить. Случай с Ломаном совершенно ошеломил его. Какая испорченность!

Ученики, главным образом те, что поменьше, в справедливом негодовании толклись вокруг кафедры.

– Наши вещи, господин учитель!

Гнусу пришлось отпереть каталажку. Из толпы один за другим выбрались три изгнанника, уже в шинелях. Ломан немедленно догадался, что его тетрадь попала в руки Гнуса, и скучливо подосадовал на чрезмерное рвенье старого дурака. Теперь уж его родителю, хочешь не хочешь, придется иметь разговор с директором!

У фон Эрцума только выше поднялись рыжие брови на лице, которое его друг Ломан называл «пьяной луной». Зато Кизелака успел в каталажке приготовиться к защите.

– Господин учитель, я ведь не говорил, что здесь гнусно воняет, я только сказал, что он то и дело говорит...

– Молчать! – закричал Гнус, дрожа всем телом. Он втянул, потом опять вытянул шею, овладел собою и глухим голосом добавил: – Судьба ваша вплотную – так сказать – нависла над вашими головами. Можете идти!

И все трое отправились обедать, каждый с нависшей над ним судьбой.

Глава вторая

Гнус тоже поел и прилег на софу. Но только он уснул, как его домоправительница, по обыкновению, загремела посудой. Гнус поднялся и тотчас же схватил тетрадь Ломана; лицо его порозовело, словно он впервые читал эти постыдные и вгоняющие в краску строки. Ко всему еще тетрадь никак не желала закрываться, до того она была измята и изогнута в том месте, где находилось «Славословие фрейлейн Розе Фрелих». После заголовка шло несколько нарочито неразборчивых строчек, затем пустое пространство и наконец:

Хоть ты – талант (в том нет сомненья),
Развращена душа твоя.

Коль в интересном положенье...[4]

Рифму автор еще не успел подыскать. Но многоточие после третьего стиха было достаточно красноречиво. Оно наводило на мысль о личной причастности Ломана. Не исключено, что четвертый стих должен был черным по белому это подтвердить. Для того чтобы угадать этот недостающий четвертый стих, Гнус прилагал усилия не менее отчаянные, чем его класс для раскрытия третьей молитвы короля.

Этим четвертым стихом ученик Ломан как будто издевался над учителем Гнусом, и Гнус, все больше и далее перевод стихов А. Ибрагимова. – Ред. разъяряясь, боролся с учеником Ломаном; насущная потребность доказать ему, кто из них сильнейший, вовлекала учителя в эту борьбу. Уж он ему докажет!

Еще ясно не определившиеся наметки будущих действий роились в голове Гнуса. Он не мог усидеть на месте, а потому накинул свою поношенную шинель и вышел из дому. На улице моросил холодный дождь. Заложив руки за спину, со склоненной головой и ядовитой усмешкой, гнездящейся в углах рта, Гнус тащился по лужам окраинной улицы. Телега, груженная углем, да несколько ребятишек – вот и все, что попало ему навстречу. К дверям мелочной лавки на углу была прибита афиша городского театра: «Вильгельм Телль»{4}. Осененный внезапной мыслью, Гнус устремился к ней, хотя колени его подгибались... Нет, Роза Фрелих не значилась среди исполнителей. Но ведь не исключено, что эта особа все же состоит в труппе. Лавочник, господин Дреге, вывесивший афишу в своем заведении, вероятно, в курсе этих дел. Гнус уже дотронулся до двери, но испуганно отдернул руку и пустился наутек. Наводить справки об актрисе на своей улице! Надо остерегаться сплетен, до которых так охочи его невежественные и ничего не смыслящие в гуманитарных науках сограждане. Чтобы разоблачить ученика Ломана, надо действовать умело и тайно... Гнус свернул в аллею, ведущую к городу.

В случае удачи Ломан в своем падении повлечет за собою Кизелака и фон Эрцума. А пока что Гнус не станет сообщать директору, что его опять так называли. Позднее само собой выяснится, что те, кто способен на это, способны и на любой другой безнравственный поступок. Гнус это твердо знал на опыте со своим сыном. Он прижил его от одной вдовы, которая, в бытность его студентом, оказывала ему материальную поддержку, чтобы он продолжал ученье. Вступив наконец в должность, Гнус согласно уговору женился на ней. Вдова, суровая костлявая женщина, давно уже скончалась.

Сын, по наружности не краше его самого, вдобавок еще был крив на один глаз. Тем не менее, приезжая на каникулы в родной город, он открыто показывался с женщинами легкого поведения. Мало того что он связался с дурной компанией, он еще четыре раза проваливался на экзамене и, следовательно, чиновником мог стать разве что на основании своего выпускного свидетельства{5}. Целая пропасть отделяла его от людей высшего полета, сдавших государственный экзамен. Гнус, решительно порвавший с сыном, понимал закономерность случившегося; более того, он все это предвидел, после того как подслушал, что сын в разговоре с приятелями называет отца «этим именем».

Значит, можно надеяться на подобную участь для Кизелака, фон Эрцума и Ломана, главное – Ломана; рок уже настигал его благодаря артистке Розе Фрелих. Гнусу не терпелось расправиться с Ломаном. Двое других померкли рядом с этим человеком, рядом с его независимыми манерами и жалостливым любопытством, появлявшимся в его взгляде, когда учитель выходил из себя. «Да и вообще, что это за ученик?» Гнус с

разъедающей ненавистью думал о Ломане. Под островерхими городскими воротами он внезапно остановился и громко проговорил:

— Эти — наихудшие!

Ученик — серое, забитое, коварное существо, которое не знает в жизни ничего, кроме своего класса, и ведет нескончаемую подпольную войну с тираном: таков Кизелак; либо это рыжий придурковатый детина, которого тиран благодаря своему умственному превосходству держит в состоянии вечной тревоги: например, фон Эрцум. Но Ломан... Ломан, кажется, усомнился в правах тирана. В душе Гнуса все накалило и накалило унижительное чувство, испытываемое небогатым начальником, видящим, как его подчиненный щеголяет в отличном костюме и сорит деньгами. А тут его вдруг осенило — все это нахальство, и больше ничего! Нахальство, что Ломан всегда выглядит опрятным, нахальство, что у него чистые манжеты, и такая физиономия — тоже нахальство. Сегодняшнее сочинение, знания, почерпнутые этим учеником вне школы, из которых самое возмутительное — артистка Роза Фрелих, — тоже нахальство. А сейчас Гнус еще уяснил себе — нахальство и то, что Ломан не называет его «этим именем».

Одолеваемый такими мыслями, Гнус поднялся до конца узкой улочки, застроенной домами с готическими фронтонами, к церкви, вокруг которой бушевал форменный ураган, и, придерживая руками распахивавшуюся шинель, стал снова спускаться под гору. Затем он свернул в переулок и в нерешительности остановился у одного из первых домов. Здесь по обе стороны двери были прибиты деревянные ящики, в которых за проволочной сеткой висели афиши «Вильгельма Телля». Гнус прочитал афишу в одном ящике, затем в другом. Наконец он решился и, боязливо озираясь по сторонам, прошел через подворотню в прихожую. Ему показалось, что за маленьким окошком, освещенным лампой, кто-то сидит; от волнения он плохо видел. В этом значном месте он не был уже лет двадцать, и его грудь теснила тревога властелина, покинувшего свою страну: а что, если его не узнают, по незнанию неуважительно обойдутся с ним, заставят почувствовать себя простым смертным? Он стоял перед окошком, негромко покашливая. Но поскольку ответа не последовало, постучал согнутым указательным пальцем. Из окошка высунулась голова кассира.

— Что прикажете? — хрипло осведомился кассир. Сначала Гнус только шевелил губами. Они уставились друг на друга, он и отставной актер с бритой синей физиономией и приплюснутым носом, на котором красовалось пенсне. Гнус едва выдавил из себя:

— Вот оно что! Вы, значит, ставите «Вильгельма Телля». Отличный выбор.

— Уж не полагаете ли вы, что нам это доставляет большое удовольствие? — отвечал кассир.

— Нет, я ничего такого не полагаю, — поспешно заверил Гнус, испугавшись, что этот разговор заведет его слишком далеко.

— Билеты не расходятся. А по контракту с городом мы обязаны ставить классические вещи.

Гнус счел, что уже пора представиться.

— Учитель местной гимназии Гну... Нусс.

— Очень приятно. Блуменберг.

— Я охотно посетил бы вместе со своим классом представление классической пьесы.

— Превосходно, господин профессор. Не сомневаюсь, что это известие чрезвычайно обрадует нашего директора.

— Но... — Гнус поднял указательный палец... — это должна быть одна из тех драм, которые мы изучаем в гимназии, а именно, я бы сказал, — «Орлеанская дева».

У актера отвисла нижняя губа, он поник головой и с грустной укоризной исподлобья посмотрел на Гнуса.

— Весьма и весьма сожалею, но эту пьесу нам пришлось бы репетировать заново.

Неужели Телль так-таки не удовлетворяет вас? Право, весьма подходящая пьеса для юношества.

— Нет, — отрезал Гнус. — С Теллем ничего не выйдет. Нам нужна Дева. И к тому же,

— действительно прошу вас обратить внимание, — Гнус с трудом перевел дух, так

у него билось сердце, — чрезвычайно существенно, кто будет исполнять роль Иоанны. Это должна быть большая артистка, которая сумеет, собственно говоря, именно показать ученикам все величие Девы.

— Ну, разумеется, разумеется, — немедленно согласился актер.

— Перебирая в уме всех актрис вашей труппы, о которых мне пришлось слышать наилучшие и, надо думать, справедливые отзывы...

— Ах, что вы говорите!

— Я остановился на фрейлейн Розе Фрелих.

— Как вы изволили сказать?

— Роза Фрелих. — Гнус затаил дыхание.

— Фрелих? Да у нас нет такой актрисы.

— Вы в этом вполне уверены? — бессмысленно переспросил Гнус.

— Позвольте, я ведь не сумасшедший.

Гнус уже не смел поднять глаза.

— Тогда я, право, даже не знаю...

Актер поспешил к нему на помощь.

— Здесь, видимо, какое-то недоразумение.

— Ну да, да, — подтвердил Гнус с ребяческой благодарностью. — Прошу прощенья.

И начал с подобострастными поклонами отступать к двери. Кассир оторопел. Потом спохватился и крикнул:

— Господин учитель! Мы ведь еще не обсудили всех подробностей. Сколько вам нужно билетов? Господин учи...

В дверях Гнус обернулся; его губы скривились в боязливую улыбку:

— Еще раз прошу прощенья.

И сбежал.

Сам того не замечая, Гнус спустился под гору, к гавани. Здесь раздавались тяжелые шаги грузчиков, перетаскивавших мешки, и протяжные крики рабочих, лебедками поднимавших эти мешки в верхний этаж амбаров. Пахло рыбой, смолой, маслом, спиртом. Мачты и трубы вдали на реке уже подернулись сумеречной пеленой. Среди всей этой суетоки и делового оживления, еще возросшего перед наступлением темноты, бродил Гнус со своими неотвязными мыслями: зацапать Ломана, найти актрису Фрелих.

Его то и дело толкали дюжие мужчины в английских костюмах с накладными в руках, грузчики кричали ему: «Берегись!» Всеобщая спешка захватила и его; сам не зная, как это случилось, он нажал ручку двери, на которой было написано: «Контора по вербовке матросов» и еще что-то по-шведски или по-датски. Все помещение было завалено связками канатов, ящиками с морскими галетами и маленькими, остро пахнущими бочонками. Попугай закричал: «Прощельга!» Одни матросы пили, другие, засунув руки в карманы, гурьбой обступили какого-то рыжебородого верзилу. Наконец верзила выбрался из тучи табачного дыма в глубине помещения, стал за стойку, так что свет от жестяного фонаря на стене залил его лысую голову, оперся ручищами о край стойки и спросил:

— Что вам от меня угодно, сударь?..

— Дайте-ка мне, — не задумываясь, отвечал Гнус, — входной билет в Летний театр.

— Чего вам? не разберу, — переспросил рыжий.

— Билет в Летний театр. На объявлении у вас в окне сказано, что здесь продаются билеты в Летний театр.

— Не пойму, что вы там толкуете, сударь. — Рыжий даже рот раскрыл от удивления. — Да ведь зимой-то Летний театр не играет.

Гнус стоял на своем.

— Но ведь у вас в окне висит объявление.

— Ну и пусть его висит.

Не успел он это выпалить, как уже раскаялся, что проявил недостаточное уважение к господину в очках, и стал думать, как бы поубедительнее обосновать, почему сейчас закрыты летние театры. Для облегчения этой кропотливой умственной работы

вербовщик легонько поглаживал стол своей рыжеволосой ручищей. Наконец его осенило:

— Да ведь всякий дурак понимает, что зимой нет летних театров.

— Я бы попросил вас, любезный... — надменно оборвал его Гнус.

Рыжий позвал на помощь:

— Эй, Генрих, Лоренц!

Матросы подошли.

— Не пойму, что с ним делается, вынь да положь ему Летний театр.

Матросы жевали табак. Теперь они вместе с вербовщиком устали на Гнуса так, словно он явился из невесть каких дальних стран, из Китая, например, а им надо понять, что он такое говорит. Гнус это почувствовал и решил, что лучше поскорее отсюда убраться.

— Тогда, по крайней мере, скажите мне, любезный, играла ли прошлым летом в вышеозначенном театре некая Роза Фрелих?

— Да я-то почему знаю? — Рыжий вконец обалдел. — Что я, с циркачками шляюсь, что ли?

— В таком случае не откажите в любезности сообщить мне, может быть, эта дама — так сказать — собирается в текущем году порадовать нас своим искусством?

Вербовщик испугался: он уже ни слова не понимал. Зато один из матросов догадался:

— Ишь какие пули отливает; да он тебя дурачит, Питер.

Матрос закинул голову и разразился оглушительным хохотом, широко разинув черную пасть. Остальные присоединились к нему. Вербовщику отнюдь не казалось, что господин в очках дурачит его, но теперь уже дело шло об его авторитете перед клиентами — людьми, которых он поставлял капитанам вместе с галетами и джином. Он разыграл приступ ярости, весь налился кровью, хлопнул кулаком по столу, потом повелительно вытянул вперед указательный палец:

— Сударь! У меня работы по горло, и валять дурака мне не досуг: вот бог, а вот порог!

Поскольку ошеломленный Гнус не двигался с места, вербовщик собрался выйти из-за стойки. Гнус быстро открыл дверь. Попугай крикнул ему вслед: «Прощельга!»

Матросы громко ржали. Дверь захлопнулась.

Он завернул за ближайший угол, очутился на тихой улочке и стал разбираться в происшедшем.

— Я допустил ошибку, — суммирую — ошибку.

Не так надо искать актрису Фрелих. Гнус всматривался в прохожих: может, они осведомлены о ее местопребывании? Это были грузчики, кухарки, фонарщик, разносчица газет. Нет, с простонародьем не договоришься: он уже пробовал! А последнее приключение обязывало его к еще большей осторожности в общении с чужими людьми. Разумнее будет подождать, не попадет ли навстречу кто-нибудь из знакомых. И как раз из ближайшей улочки вынырнул юнец, которого Гнус, не далее как в прошлом году, яростно обучал латинским стихам. Этот мальчик, никогда не зубривший уроков, видимо, стал учеником в торговом деле. Он шел с пачкой писем в руках; вид у него был весьма фатоватый. Гнус двинулся на него, уже открыв рот, но счел за благо подождать поклона. Такого не воспоследовало. Бывший ученик нахально поглядел прямо в глаза учителю и прошел, едва не задев его правое, более высокое плечо, при этом поросшая светлым пушком физиономия юнца расплылась в самодовольной ухмылке.

Гнус метнулся в «теснину», из которой только что вышел его бывший ученик. Это была одна из улочек, спускавшихся к гавани: а так как спускалась она круче, чем другие, то здесь собралась целая ватага ребятишек с грохочущими самокатами. Матери и няньки толпились на тротуаре и горестно воздевали руки, зовя своих питомцев ужинать; но ребята, в нахлобученных на уши шапках, с развевающимися шарфами, разинув рот от восторга, мчались вниз на самокатах, подскакивающих по камням мостовой. При переходе через улицу Гнусу пришлось прыгать из стороны в

сторону, чтобы его не сбили с ног. Лужи вокруг него брызгали грязью. Со стремительно пролетающего самоката пронзительный голос крикнул:
– Гнус!

Гнус вздрогнул. Несколько других голосов тотчас же подхватили слово. Ребята из коммерческого и городского училищ, видимо, узнали его прозвище от гимназистов, другие, толком не разобравши в чем дело, кричали просто так – за компанию. Среди этого вихря Гнус взобрался по крутой улице и, задыхаясь, дотащился наконец до Соборной площади.

Все было ему привычно: прежние ученики, которые не здоровались с ним, а только скалили зубы, уличные мальчишки, кричавшие ему вслед «это имя». Но сегодня, одержимый одной только мыслью, он ни на что не обращал внимания: сегодня он ждал от них ответа. Пусть они не знали назубок Вергилия, но ведь об артистке Фрелих могли они что-нибудь знать!

На рыночной площади Гнус прошел мимо табачной лавки; лавочник лет двадцать назад был его учеником, и теперь Гнус изредка – да, да, очень изредка – покупал у него ящичек сигар; он мало курил и редко пил, мещанские пороки были ему несвойственны..

На счетах, присылаемых табачным торговцем «господину учителю», имя адресата всегда начиналось с буквы Г, тщательно переделанной на Н. Было то преднамеренной издевкой или рассеянностью, Гнус так никогда и не узнал; но все же он не отважился зайти в лавку, хотя уже занес ногу на порог.. Лавочник был строптивым учеником, которого никак не удавалось «сцапать».

Гнус поплелся дальше. Дождь перестал; ветер разогнал тучи. Газовые фонари мигали красноватым светом. Из-за островерхого фронтона нет-нет да и выглядывал желтый полумесяц, лукавый глаз, так поспешно зажмуривавшийся, что его нельзя было изобличить в насмешке.

Когда Гнус вышел на Кольбуден, перед ним ярко вспыхнули огни кафе «Централь». Гнуса потянуло зайти туда и против обыкновения выпить чего-нибудь горячительного. Сегодня он был совсем выбит из колеи. А кроме того, в кафе, наверно, удастся разведать что-нибудь об актрисе Фрелих; там ведь о чем только не болтают.

Гнус знал это с прежних времен; при жизни жены он изредка – очень изредка – позволял себе часок-другой посидеть в кафе «Централь». С тех пор как она умерла, он и дома имел довольно покоя, так что нужда в кафе отпала. Вдобавок удовольствие от этих посещений было для него испорчено новым владельцем, бывшим его учеником, после нескольких лет отсутствия вернувшимся в родной город. Самолично обслуживая старого учителя, он с такой изысканной вежливостью именовал его «Гнусом», что об изобличении нечего было и думать.

Прочих гостей это очень веселило, и Гнусу стало казаться, что его частые посещения превратились бы в рекламу для кафе «Централь».

Итак, он пошел дальше, размышляя, где еще может получить ответ на свой вопрос.

Пока что ему ничего в голову не приходило. На всех лицах, встававших в его памяти, было то же самое выражение, что и на лице торгового ученика, только что встретившегося ему. В освещенных магазинах, совершенно так же, как в табачной лавке и в кафе, притаились мятежные школяры. Гнус злился, он уже устал и хотел пить. Взгляды, которые он бросал из-под очков на дощечки и вывески с именами его бывших учеников, в гимназии называли «ядовитыми». Все эти мальчишки сговорились злить его. И актриса Фрелих, прятаясь за одной из этих дверей, актриса Фрелих, которая отвлекала его ученика от школьных занятий да еще сама выскользнула из-под власти Гнуса, видно, задалась той же целью.

Время от времени ему попадалось на дощечке имя коллеги-учителя, и Гнус досадливо отводил глаза. Один назвал его перед всем классом «этим именем», другой видел его сына на рыночной площади с непотребной женщиной и разболтал об этом всему городу.

Со всех сторон теснимый неприятелем, Гнус шагал из улицы в улицу. Он крался вдоль домов, испытывая какое-то неприятное ощущение в темени; ведь каждую

минуту, словно ушат помоев, вылитый на голову, могло послышаться из окна «это имя». А он никого не увидит, не сумеет «поймать крикуна с поличным».

Мятежный класс в пятьдесят тысяч учеников бушевал вокруг Гнуса.

Он стал безотчетно уходить все дальше и дальше на окраину, где в конце длинной тихой улицы высился приют для престарелых девиц. Здесь было уже совсем темно.

Изредка мимо него шмыгали какие-то фигуры в мантильях с платочками на голове; запоздавшие обитательницы дома возвращались из гостей или с вечерни; они крадучись подбирались к звонку и, казалось, таяли в растворившейся двери.

Летучая мышь вилась над самой шляпой Гнуса. Искоса глядя на город, Гнус думал: «Ни одного, ни одного человека!»

Вслух же сказал:

— Я еще доберусь до вас, бандиты!

Чувствуя свое бессилие, он весь дрожал мелкой дрожью от ненависти к тысячам ленивых злокозненных учеников, никогда не выполняющих школьных заданий, называющих его «этим именем», всегда готовых на любое бесчинство. Они дразнят его актрисой Фрелих, покрывают шашни ее и Ломана, и хуже того — они, точно единый, сплоченный класс, восстают против учителя. Сейчас все они сидят и ужинают, а он бегаёт здесь, на окраине, да и вообще, — он вдруг почувствовал, — в какое мерзкое существо сумели они превратить его за эти годы.

Двадцать шесть лет подряд видя перед собой неизменно коварные ребяческие лица, он не замечал, что с течением времени и вне стен гимназии эти лица уже не искажались злобой при упоминании об учителе Гнусе, а иногда даже принимали участливое выражение. Вечно ожесточенный борьбой, Гнус не мог понять, что старшее поколение горожан называет его в глаза «этим именем» не затем, чтобы уязвить, а просто по веселым юношеским воспоминаниям. И также не мог понять, что он — посмешище всего города и именно в силу этого обстоятельства во многих возбуждает своего рода нежность. Он не слышал, как двое почтенных людей, первые его выпускники, остановившись на углу и с насмешкой, как он полагал, глядя ему вслед, говорили:

— Что это с Гнусом? Как он состарился!

— И стал еще грязнее!

— Чистым я его сроду не видывал!

— О, да вы просто забыли. Начинал он свою карьеру еще вполне опрятным человеком.

— Разве? Вот что значит имя! Я не могу его представить себе даже мало-мальски чистоплотным.

— Знаете, что я думаю? Он, верно, и сам не может. Такое прозвище хоть кого одолеет.

Глава третья

Гнус припустился вверх по тихой улочке, ибо его внезапное прозрение нуждалось в немедленной проверке. Роза Фрелих — это та самая танцовщица-босоножка, к которой приковано всеобщее внимание. Она должна была приехать в город и выступить в зале Общества поощрения искусств. Гнус теперь отчетливо вспомнил, при каких обстоятельствах рассказывал об ее приезде учитель Виткопп — член упомянутого общества. Он подошел в учительской к своему стенному шкафчику, отпер его, положил туда кипу контрольных тетрадей и объявил:

— Вот наконец и мы полюбуемся на знаменитую Розу Фрелих — босоножку, исполняющую греческие танцы.

Гнус, как сейчас, видел перед собой самоуверенную физиономию Виткоппа, его косой взгляд из-под пенсне и губы, которые он сложил трубочкой, чтобы выговорить: Роза Фрелих. Никакого сомнения! Он сказал именно — Роза Фрелих. Гнус расслышал все четыре слога, манерно произнесенные Виткоппом, и его раскатистое «р». Как это он раньше не вспомнил! Ясно, что Роза Фрелих прибыла в город и Ломан уже успел вступить с ней в связь. О, теперь он их обоих «поймает с поличным».

Он уже пробежал добрую половину Зибенбергштрассе, как вдруг на одну из витрин с грохотом опустили жалюзи; Гнус обомлел. Он чувствовал себя уничтоженным, это была витрина нотного торговца Кельнера, который обычно продавал билеты на

выступления приезжих актеров и знал о них все подробности. Нет, сегодня ему, видно, не достигнуть эту пару!

Все-таки он не мог и подумать, что вот сейчас придет домой и усядется за ужин.

Им овладела охотничья страсть. «Один последний заход», – решил он. На Розмаринвег Гнус остановился, потрясенный, перед кособокой лесенкой. Она круто вела к узкой двери с вывеской: «Иоганнес Риндфлейш, сапожных дел мастер». Ни в одном из двух окон лавки не был выставлен товар; стояли только горшки с цветами. Гнус пожалел, что счастливая звезда не сразу привела его к обители этого добропорядочного и незлобивого гернгутера, [5] никогда не осквернявшего своих уст бранью и не строившего обидных гримас; уж он-то, наверное, даст ему исчерпывающие сведения об актрисе Фрелих.

Гнус толкнул дверь. Колокольчик зазвенел; приветливый звук еще долго трепетал в воздухе. Полумрак окутывал заботливо прибранную мастерскую. Дверь, раскрытая в соседнюю комнату, служила рамкой мягко освещенной картине – сапожник за ужином с чадами и домочадцами. Подмастерье жевал свой кусок, сидя рядом с хозяйской дочерью. Мальши уплетали картошку с колбасой. Отец семейства поставил пузатую бутылку с черным пивом подле лампы, встал и вышел из-за стола навстречу клиенту. – Добрый вечер, господин учитель. – Он проглотил кусок и продолжал: – Чем могу служить?

– Видите ли, – забормотал Гнус, застенчиво улыбаясь и потирая руки; он тоже сделал глотательное движение, хотя во рту у него ничего не было.

– Простите, – сказал сапожник, – что у нас уже темно. Мы ровнехонько в семь кончаем работу. Вечер 5 Член религиозной протестантской секты (другое название – «Богемские братья»), требующей возврата к первоначальному христианству. Свое название ведет от местечка Гернгут в Саксонии.

принадлежит господу богу. Господу неуютны те, кто засиживается за работой.

– С одной стороны, это, конечно, правильно, – промямлил Гнус.

Сапожник был на голову выше Гнуса. Несмотря на костлявые плечи, под его кожаным фартуком выступало изрядное брюшко. Седеющие, несколько сальные кудерьки ореолом стояли вокруг его длинного серого лица, украшенного остроконечной бородкой и сейчас расплывшегося в улыбке. Риндфлейш все время сплетал и расплетал пальцы на животе.

– Но, с другой стороны, не это причина моего прихода, – пояснил Гнус.

– Добрый вечер, господин учитель, – проговорила с порога жена сапожника и сделала книксен. – Что вы там стоите в потемках, Иоганн? Проводи господина учителя в комнату. Вы уж не обессудьте, господин учитель, что мы тут кушаем колбасу.

– Помилуйте, голубушка, мне это и в голову не приходило.

Гнус решил на жертву.

– Весьма сожалею, что побеспокоил вас во время ужина, но я проходил мимо, и мне пришло в голову, что вы, так сказать, можете снять с меня мерку для ботинок.

– К вашим услугам, господин учитель, – сапожница опять сделала книксен, – к вашим услугам.

Риндфлейш подумал и велел принести лампу.

– А нам, значит, прикажешь есть в темноте, – бойко возразила сапожница. – Нет уж, пожалуйста сюда, господин учитель, я зажгу вам свет в голубой комнате.

Она прошла вперед, в холодную комнату, и зажгла в честь Гнуса две еще непочатые розовые свечи в гофрированных розетках, которые отразились в трюмо вместе с двумя раковинами, лежавшими возле подсвечников. Вдоль ярко-голубых стен в праздничной торжественности стояла дедовская мебель красного дерева. Со столика, покрытого вязаной скатертью, к вошедшим простирал фарфоровые руки благословляющий Христос.

Гнус подождал, покуда госпожа Риндфлейш вышла из комнаты. Когда они остались одни и сапожник очутился в его власти, он начал:

– Итак, хозяин, теперь вам представляется возможность доказать, что вы мастер не только на мелкие починки, всегда удовлетворявшие учи... то есть меня, но можете также шить пару хороших башмаков.

— С нашим удовольствием, господин учитель, с нашим удовольствием, — отвечал Риндфлейш смиренно и старательно, словно первый ученик.

— У меня хоть и имеется две пары башмаков, но при нынешней слякоти не мешает обзавестись еще лишней парочкой прочной, теплой обуви.

Риндфлейш уже стоял на коленях и снимал мерку. В зубах он держал карандаш и в ответ мог только мычать.

— С другой стороны, это время года всегда несет с собою что-нибудь новое для нашего города, в смысле духовных развлечений, например, а человеку они очень даже нужны.

Риндфлейш поднял на него глаза.

— Повторите еще раз, господин учитель. Да, да, человеку очень даже нужны. Наша община принимает это во внимание.

— Так, так, — буркнул Гнус. — Но я подразумеваю посещения нашего города достойными, выдающимися личностями.

— Я тоже так полагаю, господин учитель, и наша община держится того же мнения; завтра она созывает всех братьев во Христе на молитвенное собрание, на котором выступит прославленный миссионер. Вот как обстоят дела.

Гнус понял, что подобраться к актрисе Фрелих будет очень затруднительно. Он подумал и, не найдя больше окольных путей, двинулся напролом.

— В Обществе поощрения искусств нам тоже сулят, так сказать, выступление знаменитости, некоей актрисы.. Впрочем, вам это известно не хуже, чем мне, любезный.

Риндфлейш молчал, а Гнус в страстном нетерпении дожидался ответа. Он был убежден, что человек у его ног начинен всеми необходимыми ему сведениями, надо только их из него выудить. Актриса Фрелих была пропечатана в газете, о ней говорили в учительской, ее имя красовалось в окне Кельнера. Весь город знал о ней, кроме него, Гнуса. Любой горожанин лучше, чем он, разбирался в жизни и в людях. Гнус, сам того не сознавая, спокон веку пребывал в этом убеждении и теперь был уверен, что сапожник-гернгутер сообщит ему все сведения о танцовщице. — Она будет танцевать, любезный. В Обществе поощрения искусств. Воображаю, сколько туда набежит народу.

Риндфлейш кивнул.

— Люди и сами не понимают, куда бегут, — тихо и многозначительно отвечал он.

— Она танцует босиком, любезный. Прямо скажем — редкостное искусство.

Гнус не знал, чем бы все-таки пронять сапожника.

— Вы только подумайте: босиком!

— Босиком, — отозвался Риндфлейш. — О-хо-хо! Точно жены-амалекитянки, плясавшие вокруг идола! {6}

И подхихикнул, единственно из смирения, так как темный человек дерзнул украсить себя словами Священного писания.

Гнус досадливо ерзал на стуле, как будто слушая перевод нерадивого ученика, который вот-вот «сядет в лужу». Потом уперся кулаками в спинку стула и вскочил.

— Хватит уж вам снимать мерку, любезный, скажите мне без обиняков — вперед без стеснения, — приехала уже актриса Фрелих или не приехала? Вам это должно быть известно.

— Мне, господин учитель? — Опешивший Риндфлейш выпрямился. — Мне? Про танцовщицу?

— Вас от этого знания не убудет, — нетерпеливо добавил Гнус.

— О-о-о! Да не коснется меня грех высокомерия и самовозвеличения. Я готов возлюбить во господе босоногую сестру мою и буду молиться, чтобы господь судил ей жребий великой грешницы Магдалины.

— Грешницы? — надменно переспросил Гнус. — А почему вы считаете актрису Фрелих грешницей?

Сапожник стыдливо устался в навощенный пол.

— Ну, конечно, — заметил вконец раздраженный Гнус, — если бы ваша жена или дочь вздумали избрать себе карьеру актрисы, это было бы вам не по душе. Но в иных кругах, с иными нравами.. впрочем, кончим этот разговор.

И он сделал жест, говорящий — нечего в четвертом классе заниматься предметом, подлежащим изучению разве что в восьмом.

— Жена моя тоже грешница, — тихим голосом проговорил сапожник, сплетая пальцы на животе и набожно подвывая взгляд к небу. — И мне самому следует восклицать: господи, вседержитель наш, прости нас, повинных в плотском грехе.

Теперь уже изумился Гнус.

— Вы и ваша жена? Да ведь вы же состоите в законном браке.

— Конечно, конечно! И все же мы повинны в плотском грехе, а господь наш позволяет его лишь...

Риндфлейш приготовился открыть какую-то тайну, отчего глаза у него сделались круглыми и белесыми.

— Ну... — снисходительно поощрил сапожника Гнус.

В ответ послышался шепот:

— Мало кому дано знать, что господь позволяет это лишь для того, чтобы приумножать сонм ангелов в небесах.

— Так, так, — пробурчал Гнус, — очень мило, конечно.

Он, усмехнувшись, поглядел на просветленный лик сапожника, но тут же подавил усмешку и собрался уходить. Теперь он уже верил, что Риндфлейш и вправду ничего не знает об артистке Фрелих. Риндфлейш, вернувшись мыслью к земной жизни, спросил, какой высоты делать голенища. Гнус рассеянно ему ответил, благосклонно, но торопливо отклонялся его семейству и быстро зашагал домой.

Он презирал Риндфлейша. Презирал голубую комнату, презирал умственную ограниченность этих людей, их смирение, их пиетистскую экзальтацию^{7} и нравственную косность. У него в доме тоже все выглядело довольно убого, но зато, если бы вдруг воскресли древние князья духа^{8}, он мог бы на их языке беседовать с ними о грамматическом строе их творений. Он был беден и непризнан; никто не знал, сколь важную работу выполняет он вот уже двадцать лет. Незамеченным, даже осмеянным проходил он среди всех этих людей, но в душе был сопричастен властителям мира. Ни один банкир или венценосец не был облечен большей властью, чем Гнус, и не был больше его заинтересован в незыблемости существующего порядка. Он бился за всех власть имущих, в тиши своего кабинета неистовствовал против рабочих, которые, — добейся они своей цели, — вероятно, позаботились бы о том, чтобы и Гнус получал несколько лучший оклад. Молодых учителей, еще более робких, чем он сам, с которыми Гнус отваживался вступать в беседу, он мрачно предостерегал от пагубного тяготения современного духа — подрывать устои. Он хотел, чтобы эти устои были крепки: влиятельная церковь, метко разящая сабля, безоговорочное повиновение, нерушимые традиции. При этом он был атеистом, наедине с собой способным на крайнее свободомыслие. Но как тиран он знал, что нужно для того, чтобы держать рабов в повиновении, знал, как укрощать чернь и врага — пятьдесят тысяч строптивых учеников, досаждавших ему. Ломан, видимо, состоял в предосудительной связи с актрисой Фрелих; Гнус краснел при этой мысли, ибо не мог не краснеть. Но преступником Ломан был лишь оттого, что, вкушая запретных радостей, ускользал из-под бдительного надзора учителя. Нет, не на безнравственность ополчался Гнус...

Придя домой, он на цыпочках прокрался мимо кухни; возмущенная его опозданием, домоправительница злобно загремела горшками. На ужин она подала ему колбасу с картошкой, переваренной и вдобавок еще остывшей. Гнус ни словом по этому поводу не обмолвился: девица немедленно уперла бы руки в боки. Гнус не хотел подстрекать ее к мятежу против господина.

Пужинав, он стал у своей конторки. Из-за его близорукости она была сделана несоразмерно высокой. Так как он в течение тридцати лет держал на ней правую руку, его правое плечо сделалось значительно выше левого. «Истинны только дружба и литература», — по обыкновению, произнес он. Почерпнув откуда-то это изречение, он привык к нему и теперь чувствовал потребность всякий раз произносить его, приступая к работе. Что следовало понимать под словом «дружба», он так никогда и не узнал. Оно затесалось случайно, но литература! Ведь это был его заветный

труд, о котором человечество ничего не знало, давно зрел он здесь, в тиши, чтобы когда-нибудь, на диво людям, пышным цветом распуститься над его, Гнуса, могилой. Труд этот был посвящен партикулам Гомера!.. Но сегодня рядом лежала тетрадка Ломана и мешала ему сосредоточиться. Он не удержался, раскрыл ее и опять стал думать об актрисе Фрелих. Одно обстоятельство очень его тревожило: он больше не был уверен, что знаменитую танцовщицу-босоножку зовут Розой Фрелих. Эта Фрелих могла оказаться совсем другой особой. Конечно, она не босоножка: сомнения переросли в уверенность. Но все равно ему необходимо найти ее, иначе Ломана не «поймаешь с поличным». В борьбе с этим злосчастным мальчишкой он снова отброшен далеко назад; затаенное волнение душило его, и он закашлялся.

Внезапно, схватив пальто, он кинулся вон из комнаты. Входная дверь была уже заперта на цепочку; Гнус дергал ее, как заправский грабитель. Домоправительница выругалась, он услышал, как она затопала к двери. В последнюю минуту страх придал ему ловкости, дверь поддалась, он выбежал в палисадник и затем на улицу. До городских ворот он то трусил рысцой, то шел торопливым шагом; там он заставил себя идти спокойнее, но сердце у него колотилось.

У него было такое чувство, точно он вступил на запретный путь. Улицы были пусты, он шел вверх и вниз, но все время прямо, заглядывая в переулки и «теснины», останавливался у гостиниц и с мучительной подозрительностью всматривался в окна, где сквозь спущенные занавеси пробивался свет. Он шел по темной стороне улицы – другая была освещена полной луной. Уже вывездило, ветер утих, шаги Гнуса гулко отдавались в тишине. У ратуши он повернул к крытому рынку и прошелся под его сводами. Среди арабесок листвы арки, башни и колодцы готическими силуэтами вонзались в лунную ночь. Непостижимое волнение овладело Гнусом, он то и дело бормотал: «Вот это было бы.. Так сказать. – И затем: – Вперед, без стеснения...»

При этом он зорко всматривался в каждое окно почтамта и полицейского управления. Но, сочтя все же неправдоподобным, чтобы актриса Фрелих скрывалась в одном из этих зданий, вернулся на улицу, с которой только что ушел. В цескольких шагах светилось широкое окно кафе, многие коллеги Гнуса ежевечерне сходились там за кружкой пива. На занавеске обрисовался темный профиль с остроконечной бородкой; рот открывался и закрывался. Это был один из старших учителей, зловредный тип, неуважительно относившийся к Гнусу, считавший, что он расшатывает школьную дисциплину, и возмущавшийся безнравственностью его сына. Гнус задумчиво вглядывался в этого доктора Гюббенета: что он там лопочет себе в бороду?

Разгорячился, видно, от пива – зауряднейший обыватель, вот и все! Он, Гнус, не имеет ничего общего с этими людьми по ту сторону окна, ровно ничего; сейчас он это понял и почувствовал удовлетворение. Сидят там, сбившись в кучу, все у них идет как положено, а он – человек, в каком-то смысле подозреваемый, можно даже сказать – отверженный. И мысль о тех, в кафе, перестала больно жалить его. Он кивнул силуэту учителя неторопливо, презрительно и пошел дальше.

Опять пригород. Гнус повернул обратно на Кайзерштрассе. У консула Бретпота, видимо, бал; весь его большой дом освещен, к подъезду то и дело подкатывают экипажи, швейцар и несколько лакеев бросаются к каретам, открывают дверцы, помогают гостям выходить. На ступеньках шуршат шелковые юбки. Какая-то дама задержалась в дверях и с ласковой улыбкой протянула руку молодому человеку, подошедшему пешком. В красивом малом с цилиндром на голове Гнус узнал молодого учителя Рихтера. Он слышал, что Рихтер собирается жениться на богатой девице из видной семьи. В такие семьи учителя обычно даже доступа не имели. И Гнус, скрываясь в потемках, шипел:

– Пролаза, настоящий пролаза! – вполне достоверно.

В своей забрызганной грязью шинели он потешался над человеком со счастливым будущим, перед которым уже сейчас гостеприимно раскрывались все двери; так злобный бродяга, притаившись в темном углу, смотрит на прекрасный мир и, словно держа бомбу за пазухой, тешится мыслью об его гибели. Уверенный в своем превосходстве над Рихтером, Гнус веселился. Он подхихикивал и бессмысленно бормотал:

— Погоди, погоди, ты у меня еще сядешь в лужу — как говорится, в свою очередь, — запомни это, голубчик!

Он пошел дальше, отлично развлекаясь по дороге. Завидев на двери дощечку с именем своего коллеги или старого ученика, Гнус думал: «Вас я тоже еще поймаю с поличным», — и потирал руки. Кроме того, он, как заговорщик, подмигивал старинным домам с островерхими кровлями, убежденный, что в одном из них укрылась актриса Фрелих. Бог ты мой, как она его взволновала, заинтриговала, выбила из колеи. Между ней и Гнусом, по пятам преследовавшим ее в ночи, установилась своего рода связь. Гимназиста Ломана тоже надо было выследить, но этот был как бы индейцем другого племени. На школьных праздниках за городом Гнусу иногда доводилось играть в «солдат и разбойников». Он взбирался на холм, потрясал кулаком в воздухе, выкрикивал команду: «Нападай! Пора! Итак, значит, бей!» — и неподдельно волновался во время разражавшейся схватки. Ведь это всерьез. Школа, игра — это жизнь. Нынешней ночью Гнус играл в индейца на военной тропе...

Он входил все в больший азарт. Очертания домов, расплывавшиеся во мраке, щекотали его страхом и любопытством; любой угол манил и пугал его. Когда он входил в узкие переулки, ему казалось, что он пускается в опасную авантюру, любой шорох в окне заставлял его замирать на месте с бьющимся сердцем. При его приближении то тут, то там тихонько приоткрывались двери, раз к нему протянулась какая-то рука, прикрытая розовым шелком. Он весь вспотел, бросился наутек и вдруг очутился в гавани — второй раз за сегодняшний день, а ведь в эту часть города его не заносило годами. В лунном свете вздымались громады кораблей. Гнусу пришло на ум, что актриса Фрелих спит в каюте одного из них; на рассвете заревет гудок, и актриса Фрелих отбудет в дальние края. При этой мысли его потребность действовать, направлять события стала неистовой. Справа и слева, тяжело ступая, приближались двое рабочих. Они сошлись перед самым его носом; один спросил:

— Ну, куда махнем, Клаас?

Другой мрачным басом отвечал:

— Прощельга!

Гнус задумался. Где он мог сегодня слышать это слово? За двадцать шесть лет он так и не научился понимать здешний говор^{9}. Он последовал за обоими рабочими и неосвоенными богатствами их лексики по грязным извилистым закоулкам. В одном из этих закоулков грузчики, описав дугу, пришвартовались у большого дома с громадными въездными воротами, на которых покачивался фонарь, освещающий изображение голубого ангела. Гнус услышал музыку. Рабочие исчезли в сенях, один из них подхватил мотив. У входной двери Гнус заметил пеструю афишу и стал ее читать. Она сулила «вечернее представление». Дойдя до половины, он вдруг прочитал слова, от которых у него сперло дыхание, его прошиб пот. В страхе и в надежде, что тут что-то не так, он начал читать сначала. Потом сорвался с места и бросился в дом, как в пропасть.

Глава четвертая

Сени здесь были непомерно широкие и длинные, настоящие сени старинного бюргерского дома, в котором теперь занимались совсем неподходящим делом. Слева из-за полуотворенной двери виднелся отблеск огня и слышался стук кухонных горшков. На двери справа была надпись: «Зал». За этой дверью стоял глухой многоголосый шум, изредка прерывавшийся резкими вскриками. Гнус помедлил в нерешительности, прежде чем нажать ручку; он чувствовал — этот шаг чреват многими последствиями... Толстый, совершенно лысый человек, с кружками пива на подносе, попался ему навстречу. Гнус остановил его.

— Прошу прощения, — забормотал он, — я бы хотел переговорить с артисткой Фрелих.

— О чем это вам вздумалось говорить с ней? — осведомился толстяк. — Она сейчас не разговаривает, а поет. Лучше послушайте.

— Вы, я полагаю, хозяин «Голубого ангела»? Очень рад. Я учитель местной гимназии Нусс и пришел за одним гимназистом, который, видимо, находится здесь. Не укажете ли вы мне точнее его местопребывание?

— А вы, господин учитель, загляните-ка в артистическую, там какие-то молодые люди с утра до вечера околачиваются.

— Ну вот, так оно и есть, — грозно проговорил Гнус. — Согласитесь, любезный, что это ни на что не похоже.

— Э-э, — хозяин нахмурил брови, — это уж не моя забота, кто угощает артисток ужином. Молодые люди заказали вино, а нашему брату только того и требуется. Я не намерен давать по шеям своим клиентам.

Гнус переменял тон.

— Ладно, ладно! А теперь отправляйтесь-ка туда, любезный, и приведите мне этого мальчишку.

— На черта мне туда идти, — идите сами!

Но авантюристический пыл в Гнусе уже иссяк; как жаль, что он открыл местопребывание артистки Фрелих!

— Мне что ж, идти через зал? — робея, спросил он.

— А как же? Идите в заднюю комнату, вон в ту, где окно с красной занавеской.

Он прошел вместе с Гнусом несколько шагов в глубь сеней и показал ему довольно большое окно, изнутри завешенное чем-то красным. Гнус попытался заглянуть в щелку, между тем хозяин с пивом вернулся к двери зала и отворил ее. Гнус побежал за ним, простирая руки, и с отчаяньем взмолился:

— Очень вас прошу, любезнейший, приведите мне гимназиста!

Хозяин уже был в зале, он обернулся довольно нелюбезно:

— Да которого вам? Их там целая тройка! Чтоб тебе, старый дурень! — добавил он и скрылся.

«Целая тройка?» — хотел было переспросить Гнус; но сам уже оказался в зале, оглушенный шумом, ничего не видя от горячего пара, затуманившего очки.

— Закрывайте двери, дуэт, — крикнул кто-то рядом с ним.

В испуге он попытался нащупать ручку, не нашел ее и услышал взрыв смеха.

— Старик, видно, в жмурки играет, — проговорил тот же голос.

Гнус снял очки; дверь уже захлопнулась, он был в ловушке и беспомощно озирался по сторонам.

— Эге, Лоренц, да ведь это тот утренний дуралей, что морочил голову вербовщику.

Гнус не понял, он понимал только одно: вокруг мятеж и мятежники. В полном отчаянии он вдруг заметил свободный стул у столика рядом; оставалось только сесть. Он приподнял шляпу и осведомился:

— Вы разрешите?

Тщетно прождав ответа, он сел. И тотчас же почувствовал себя растворившимся в толпе, а не каким-то нелепым исключением. Никто больше не обращал на него внимания. Опять заиграла музыка, его соседи принялись подпевать. Гнус протер очки и приосанился. Сквозь чад едкого табачного дыма, потных человеческих тел и винного перегара он увидел бесчисленное множество голов; в тупом блаженстве они покачивались так, как им повелевала музыка. Лица и волосы были разные — огненно-рыжие, желтые, темные, красные, как кирпич, и раскачиванье этих голов, возвращенных музыкой к первобытно-растительной жизни, напоминало колеблющую ветром огромную грядку пестрых тюльпанов, которая тянулась через весь зал и где-то далеко-далеко исчезала в дыму. Сквозь этот дым нет-нет и прорывалось что-то блестящее, какой-то быстро движущийся предмет. В сиянии рефлектора мелькали плечи, руки, ноги — словом, отдельные части какого-то светлого тела и большой, молча разинутый рот. Пение мелькающего существа поглощали звуки рояля и голоса гостей. Но Гнусу казалось, что эта особа женского пола — сплошной истощенный визг. Время от времени она вскрикивала тонким голосом, но так пронзительно, что и гром не мог бы заглушить этот звук.

Хозяин поставил перед Гнусом кружку пива и пошел было дальше. Гнус поймал его за фалду.

— Итак, прошу внимания, любезный! Эта певица и есть фрейлейн Роза Фрелих?

— А то кто же? Сидите и слушайте, раз уж вы сюда заявились.

Он высвободился и ушел.

Наперекор здравому смыслу Гнус надеялся, что певица не Роза Фрелих, что гимназист Ломан никогда не переступал этого порога и что, следовательно, ему, Гнусу, не надо переходить к активным действиям. Возможно ведь, что стихи в

тетрадке Ломана — чистая поэзия, не имеющая ничего общего с действительной жизнью, и никакой актрисы Фрелих не существует. Гнус уцепился за эту соломинку, удивляясь, как такая мысль раньше не приходила ему в голову.

Он глотнул пива.

— Ваше здоровье, — сказал его сосед, пожилой бургер в шерстяной фуфайке и жилете, расстегнутом на толстом животе. Гнус уже давно потихоньку к нему приглядывался. Бургер выпил свою кружку и бодро вытер рукой желто-бурые усы. Гнус наконец решился.

— Выходит, значит, что это фрейлейн Роза Фрелих развлекает нас своим пеньем? Но тут раздались аплодисменты: певица как раз допела одну из песенок. Гнусу пришлось переждать овацию и затем повторить свой вопрос.

— Фрелих? — переспросил сосед. — Да почему я знаю, как зовут всех этих девок. Здесь что ни день, то новая.

Гнус хотел язвительно заметить, что ведь именно фамилия Фрелих стоит на афише, но тут опять заиграл рояль, правда менее громко, так что можно было даже разобрать слова, которые эта пестрая особа пропела, смущенно и лукаво прижимая к лицу высоко поднятые юбки:

Ведь я невинная малютка...

Гнус определил все это как идиотизм и поставил в связь с тупоумным ответом соседа. Он негодовал все больше и больше. Он вдруг очутился в мире, который являлся как бы отрицанием его самого, среди людей, внушающих ему глубочайшее отвращение, людей, которые не понимали печатного слова и слушали концерт, даже не прочитав программы. Его гвоздила мысль, — здесь собралось несколько сот человек, и все они не «записывают», не стараются «ясно мыслить», а, напротив, одурманивают свой мозг и беззастенчиво предаются «посторонним занятиям». Он с жадностью глотнул пива... «Если бы они знали, кто я!» Постепенно чувство собственного достоинства вновь утвердилось в нем, он успокоился, как-то даже размяк под воздействием пропитанного человеческими испарениями теплого воздуха — этого парового отопления, в котором воду заменяет кровь. Чад становился все гуще, смутный мир отступал куда-то вдаль... Он потерял себе лоб; ему казалось, будто та особа на эстраде уже много раз пропела, что она «невинная малютка». Теперь она кончила петь, и зал захлопал, зарычал, завизжал, затопал ногами. Гнус несколько раз хлопнул в ладоши у самых своих глаз, с удивлением на это воззрившихся. Им овладело сильное, безумное, почти необоримое желание застучать обеими ногами сразу. У него хватило сил удержаться, но искушение не озлило его. Он блаженно улыбался, мысленно решив, что таков человек. «Животное, вот и все», — добавил он.

Певица спустилась в зал. Рядом с эстрадой открылась дверь. Гнус почувствовал, что из-за двери кто-то смотрит на него. Один-единственный человек стоял к нему лицом и смеялся; и это был — вполне достоверно — не кто иной, как гимназист Кизелак!

Убедившись в этом, Гнус вскочил. Ему показалось, что он на мгновение забылся и гимназисты уже воспользовались его забывчивостью для своих безобразий. Он растолкал двух солдат, протиснулся между ними и устремился вперед. Какие-то рабочие не пожелали пропустить его, а один из них сбил у него шляпу с головы. Гнус поднял ее и снова надел, всю перепачканную; кто-то крикнул:

— Ганс! Смотри! До чего хороша шляпа!

Кизелак в глубине зала корчился со смеху. Гнус прорывался дальше, от неистового волнения у него стучали челюсти. Но сзади кто-то держал его. Он опрокинул грот у одного матроса; тот потребовал оплаты убытка. Гнус удовлетворил его требование. Теперь перед ним открылось свободное пространство в несколько шагов. В смертельном испуге, но не сводя глаз с Кизелака, он отпрянул от той бездны разврата, которая перед ним разверзалась. Вдруг он наскочил на что-то мягкое, и рослая толстая женщина в распахнувшемся коричневом мантио, под которым почти никакой другой одежды не было, разгневанно повернулась к нему. Мужчина не менее плотного телосложения, тщательно причесанный, но тоже в одном трико да еще в

потрепанной куртке на плечах, подбежал и впутался в свару. Гнус, оказывается, выбил из рук толстухи тарелочку для сбора денег, несколько монет укатилось. Все кинулись на поиски; Гнус тоже помогал искать суетливо и растерянно. Возле его головы, пригнутой чуть не к самому полу, шаркали ноги; вокруг слышалась ругань, проклятия, руки каких-то наглецов тянулись к нему. Гнус выпрямился, весь красный, с зажатой в кулаке двухпфенниговой монетой. Он тяжело дышал и невидящим взором вглядывался в лица врагов. Вот уже второй раз за сегодняшний день ему в лицо дул ветер мятежа. Он стал неуклюже отбиваться, казалось, сражаясь с полчищами врагов, но в этот момент увидел Кизелака, повалившегося на рояль; все тело гимназиста сотрясало. Теперь он уже слышал, как тот смеется. Тут Гнуса обуял сумасшедший страх – страх тирана, когда в его дворец врывается чернь и конец уже неотвратим. В этот миг он был способен на любое злодеяние, границ возможного для него более не существовало. Он крикнул замогильным голосом: – В каталажку, в каталажку!

Кизелак, увидев его перед самым своим носом, повиновался. Он юркнул в дверь около эстрады. Очнувшись, Гнус обнаружил, что тоже находится за этой дверью. В глаза ему бросилась красная занавеска и рука, высунувшаяся из-за нее. Он хотел схватить эту руку, но услышал, как кто-то прыгнул. Приподняв занавеску, Гнус увидел, что Кизелак рысью бежит через сени. В то же мгновение какая-то фигура выскочила на улицу, Гнус успел разглядеть ее – фон Эрцум. Он встал на цыпочки, но окно было слишком высоко, попытался вскарабкаться на подоконник и, повиснув на локтях, услышал за спиной тонкий голос:

– Смелее, смелее, вы, видно, еще сильный мужчина!

Он плюхнулся вниз, обернулся: позади него стояла пестрая особа женского пола. Несколько секунд Гнус смотрел на нее; его челюсти беззвучно шевелились. Наконец он выдал из себя:

– Вы, вы – вполне достоверно – артистка Фрелих?

– Ну да, – отвечала она.

Гнус и без того знал это.

– И вы упражняетесь здесь в своем искусстве?

Он хотел, чтобы она и это подтвердила.

– Глупый вопрос, – заметила дама.

– Значит... – Гнус перевел дух и указал назад, на окно, в которое выскочили Кизелак и фон Эрцум. – Скажите, пожалуйста, а позволительное ли это дело?

– Что именно? – удивилась дама.

– Ведь они гимназисты, – сказал Гнус и дрожащим, глухим голосом повторил: – Гимназисты!

– Ну и пусть. Мне-то что?

Она рассмеялась. Гнуса взорвало:

– Вы отвлекаете их от школьных занятий и прямого исполнения долга. Вы их соблазните!

Артистка Фрелих перестала смеяться; она ткнула себя в грудь указательным пальцем:

– Я? Да вы, верно... того...

– Так вы, значит, еще отпираетесь? – воинственно настаивал Гнус.

– А зачем? Мне это, слава тебе господи, ни к чему. Я артистка. Скажите, а принимать от мужчин цветы мне тоже нельзя без вашего позволения? – Она показала рукой на угол комнаты, где с двух сторон наклонно повешенного зеркала были заткнуты большие букеты, и, вздернув плечи, добавила: – Может, это тоже непозволительно? Да кто вы, собственно, такой?

– Я? Я учитель гимназии, – отвечал Гнус, и это звучало, как: я властитель мира.

– Ага, – уже мягче заметила она, – тогда вам тоже наплевать, чем занимаются эти молодые люди.

Подобное мировоззрение не укладывалось в мозгу Гнуса.

– Советую, – начал он, – вам и вашим присным без промедления покинуть этот город, в противном случае, – он снова возвысил голос, – я приложу все усилия,

чтобы испортить вам карьеру или вовсе погубить ее. Я сумею — так сказать — заинтересовать вашими делами полицию.

При этом слове на лице артистки Фрелих изобразилось откровеннейшее пренебрежение.

— Если она до тех пор не сцапает вас, что, на мой взгляд, весьма вероятно. До меня же ей никакого дела нет. А в общем, мне вас жалко! Эх вы!

Но очевидно было, что она не сострадает ему, а все больше и больше злится.

— Скажите на милость, попал в дурацкое положение и еще куражится. Мало, что ли, над вами смеялись? А ну, живо отправляйтесь в полицию. Вас тут же и схватят.

Нет, надо же набраться такого нахальства! Просто смешно, особенно женщине, привыкшей к вежливому обхождению. Вот возьму да и напущу на вас кого-нибудь из знакомых офицеров. Да от вас мокрого места не останется.

На ее торжествующем лице и вправду изобразилось сострадание.

Поначалу он пытался перебить артистку Фрелих. Но под натиском ее решительности его мысли, уже облекшиеся в слова и готовые сорваться с языка, мало-помалу стали отступать и, наконец, затерялись в недрах Гнуса. Он окаменел — эта особа не была вырвавшимся из-под его власти, заартачившимся гимназистом, которого всю жизнь надлежало держать в ежовых рукавицах, а к таковым относились все местные жители. Нет, она была чем-то новым. От всего, что она говорила, веяло странным, будоражащим нервы ветром. Она была силой посторонней, но почти равноправной. Потребуй она от него ответа, он бы уже не нашелся, что сказать. В нем зарождалось какое-то небывалое чувство, похожее на уважение.

— Ну да что там толковать!.. — Она пренебрежительно замолчала и повернулась к нему спиной.

Рояль опять заиграл. Дверь отворилась, пропуская толстую женщину, с которой у Гнуса произошло столкновение, а также ее супруга, и тотчас снова захлопнулась. Толстуха поставила на стол тарелку, и складки ее мантии заходили гневливыми волнами.

— Четырех марок не набралось, — объявил супруг. — Голоштанники! Лоботрясы!

Артистка Фрелих бросила холодно и колко:

— Вот этот господин хочет жаловаться на нас в полицию.

Гнус что-то залопотал, испуганный явно превосходящими силами противника. Толстая женщина круто повернулась и смерила его взглядом. Выражение ее лица показалось ему нестерпимо наглым, он покраснел, опустил взор, который наткнулся на толстые икры в трико телесного цвета, вздрогнул и поспешил еще больше потупиться. Тут муж, стараясь говорить вполголоса, что давалось ему с трудом, заявил:

— Да ведь скандал-то поднял он! А я уж давно предупреждал Розу, что вышвырну всякого, кто вздумает устраивать сцены ревности и воображать, что он один здесь хозяин. Эх вы — соперничать с мальчишками! Вас уж небось и полиция взяла на заметку как сладострастного старикашку.

Но жена толкнула его: у нее, видимо, сложилось иное мнение о Гнусе.

— Тише ты! Да он мухи не обидит, — и, повернувшись к Гнусу, продолжала: — В бутылку полез, голубчик! Ну не беда, человек иной раз взъерепенится, сам не знает с чего. А с Кипертом лучше не связываться: он как вообразит, что я ему изменяю, так прямо на стену лезет. Садитесь-ка лучше да выпейте винца!

Она скинула со стула юбки и пестрые штаны, взяла со стола бутылку и налила Гнусу вина. Он выпил во избежание лишних разговоров.

— Давно вы знакомы с Розой? — полюбопытствовала толстуха. — Сдается мне, что я вас еще не видела.

Гнус что-то ответил, но рояль поглотил его ответ. Артистка Фрелих пояснила:

— Он учитель тех мальцов, что околачиваются у меня в уборной.

— А-а, так вы учитель? — сказал артист. Он тоже выпил, щелкнул языком и вернулся к своему обычному благодушному состоянию. — Раз так, вы свой человек. Вы, значит, тоже будете голосовать за социал-демократическую партию. А не то придется вам ждать до седых волос повышения учительских окладов{10}. С искусством то же самое: вечный полицейский надзор, а в кармане шиш. Наука, — он указал на Гнуса, — и искусство, — указал на себя, — одного поля ягоды.

Гнус ответил:

— Может, это и так, но вы исходите из неправильной предпосылки. Я не народный учитель, а доктор педагогических наук Нусс{11} и преподаю в здешней гимназии. Артист сказал только:

— Ваше здоровье!

Каждый волен именовать себя как угодно, и если кому-нибудь вздумалось играть роль доктора наук, то это еще не повод для вражды.

— Так вы, значит, учитель, — добродушно промолвила женщина. — Тоже не легкий хлеб. А сколько вам лет?

Гнус отвечал с готовностью, как ребенок:

— Пятьдесят семь.

— Ну и перепачкались же вы! Давайте-ка сюда вашу шляпу, попробую ее хоть немножко отчистить.

Она взяла у него с колен широкополую шляпу, вычистила ее, даже разгладила поля и заботливо надела ему на голову. Затем, окинув пытливым взглядом плоды своих трудов, игриво похлопала его по плечу. Он сказал с кривой улыбкой:

— Благодарствуйте, — конечно и безусловно, — за любезность, голубушка.

То, что он сейчас испытывал, было не только угрюмой признательностью властелина за добросовестное исполнение обязанностей. Эти люди, для которых он оставался инкогнито, хотя и назвал себя полным титулом, отнеслись к нему с искренней теплотой. Непочтительность он им в вину не ставил. У них ведь явно не имелось «должного мерила». Этим он объяснял и свое желанье хотя бы на несколько минут забыть о строптивном мире, отдохнуть от постоянного напряжения, разоружиться.

Толстый актер вытащил из-под валявшихся на стуле кальсон два германских флага,

фыркнул и подмигнул Гнусу, как давнему единомышленнику. Толстая актриса окончательно перестала его бояться; Гнус тем временем понял, что ее наглый взгляд — следствие темного слоя грима под глазами. Только по отношению к артистке Фрелих он не чувствовал себя свободно. Правда, она стояла в стороне, всецело занятая собой, — задрав подол юбки, пришивала к нему гирлянду матерчатых цветов.

Пианист закончил пьесу громчайшим аккордом. Зазвенел звонок. Актер сказал:

— Наш выход, Густа.

И великодушно предложил Гнусу:

— Вы бы посмотрели, как мы работаем, господин учитель.

Он скинул с плеч потрепанную куртку; жена его, сбросив мантию, погрозила Гнусу пальчиком:

— Смотрите у меня, поскромнее с Розой; умерьте свой темперамент.

Кто-то приоткрыл дверь снаружи, и Гнус с удивлением увидел, что толстая чета не без грации пустилась в пляс, подбоченясь и закинув головы, с самодовольной улыбкой на устах, призывающей зрителей к аплодисментам. И правда, их появление вызвало радостный шум в зале.

Дверь затворилась, Гнус остался наедине с артисткой Фрелих. Он тревожился: что-то сейчас будет? — и шмыгал глазами по комнате. На полу, между зеркалом с букетами и столом, за которым он сидел, валялись грязные полотенца. На столе, кроме двух винных бутылок, было множество пахучих банок и склянок. Стаканы с вином стояли на нотах. Гнус боязливо отодвинул свой стакан от корсета, который толстуха швырнула на стол.

Артистка Фрелих шила, поставив ногу на стул, заваленный фантастическими костюмами. Гнус не смотрел на нее, этого бы он себе не позволил, но нечаянно увидел ее отражение в зеркале. Едва успев бросить первый испуганный взгляд в зеркало, он уже установил, что ее длинные, очень длинные черные чулки вышиты лиловым. Некоторое время он не смел поднять глаза. Затем в страхе обнаружил, что голубое шелковое платье, переливающееся под черной сеткой, не закрывает ее плеч и что всякий раз, как она взмахивает иглой, под мышкой мелькает что-то белокурое. Тут уж Гнус перестал смотреть...

Тишина тяготила его. В зале тоже стало гораздо тише. Оттуда доносились только отрывистые стонущие звуки, хриповатые и мирные, какие обычно издают утомленные

толстяки. Но вот наступило полное молчание: стало слышно, как, дребезжа, пригнулось что-то металлическое. Внезапное «гоп!» — и два тяжелых прыжка, один за другим. Затем бурная овация и перекрывающие ее крики: «Черт побери! Что за молодцы!»

— Готово дело!.. — сказала артистка Фрелих и сняла ногу со стула. Цветы были пришиты. — Ну, а вы что там приумолкли?

Гнус взглянул на нее и сразу ошалел от ее пестроты. Волосы у нее были красно-розовые, даже с лиловым оттенком; в них блистала и переливалась диадема из зеленых стекляшек. Черные-пречерные брови лихо заламывались над синими глазами. Но сверкающие, обольстительно-пестрые краски ее лица — красноватые, голубые, жемчужные — были покрыты пыльным налетом. Прическа выглядела измятой, казалось — часть ее сияния отлетела в пропитанный чадом трактирный зал. Голубой бант вяло свешивался с шеи, а цветы на юбке кивали мертвыми головками. Лак на туфлях потрескался, на чулках выступили два больших пятна, шелк короткого платья переливался в разошедшихся складках. Округлые, нежные плечи, казалось, были захватаны чужими руками, и белизна ссыпалась с них при каждом торопливом движении. Гнус уже знал, что ее лицо бывает заносчивым и злым, но пока что артистка Фрелих с готовностью убирала это выражение, забывала о нем. Она смеялась над людьми, над собой.

— Поначалу вы себя выказали живчиком, — заметила она.

Гнус весь обратился в слух. Внезапно он сделал деревянный прыжок, точь-в-точь старая кошка. Артистка Фрелих, взвизгнув, отпрянула. Гнус распахнул красное окно.. Увы, голова, мелькнувшая за занавеской, уже скрылась.

Он вернулся на прежнее место.

— Что вы народ пугаете? — сказала она.

Он, даже не извинившись, прямо устремился к цели:

— Вы, наверно, знаете многих здешних юнцов?

Она стояла, чуть-чуть раскачивая бедрами:

— Я вежлива со всеми, кто прилично ведет себя со мной.

— Разумеется. Да и кто бы посмел.. А что, гимназисты, как правило, так сказать, понимают толк в обхождении?

— Вы, видно, решили, что я с утра до ночи вожусь с этими молокососами. Я вам не нянька из детского сада.

— Ну, опять-таки — конечно же, конечно! — И, стараясь напомнить ей, подсказать:

— Обычно они носят форменные фуражки.

— Когда они в фуражках, я узнаю, что это гимназисты. Да и вообще я не какая-нибудь дура.

Он подхватил:

— Отнюдь, отнюдь нет!

Она немедленно насторожилась.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что все знание людей.. — Он испуганно и умоляюще простер к ней руку. — Я говорил о знании людей. Не каждому дается это знание — трудное и горькое.

Опасаясь потерять ее расположение, желая войти к ней в доверие, потому что она была ему нужна и потому что он боялся ее, Гнус открылся артистке Фрелих больше, чем обычно открывался толпе.

— Да, горькое, но необходимое, чтобы заставить людей служить себе, чтобы, презирая их, властвовать над ними.

Она его поняла.

— Я то же говорю. Не так-то просто получить что-нибудь с этой шушеры.

Артистка Фрелих придвинула себе стул.

— Вы понятия не имеете о нашей жизни. Всякий, кто бы сюда ни сунулся, воображает, что здесь только его и ждали. Каждому чего-то надо, а потом, даже думать противно, они еще на каждом шагу грозят нам полицией. Вот вы.. — кончиком пальца она коснулась его колена, — прямо с этого и начали. Ну да нет худа без добра!

— Я ни в коем случае не позволил бы себе отказать даме в должном почтении, — заверил Гнус.

Ему было не по себе. Эта пестрая особа женского пола говорила о вещах, в которых он не очень-то разбирался. Вдобавок ее колени уже втиснулись между его колен. Она поняла, что он готов осудить ее, и в мгновение ока соорудила смиренную, рассудительную мину.

— Надо выбраться из этой грязи и жить по-порядочному. — И, так как он промолчал, поспешила добавить: — А правда, вино недурное? Его притащили ваши мальцы. Они прямо носом землю роют. А у одного так и деньжонки водятся.

Она опять наполнила его стакан. И, чтобы подольститься, продолжала:

— То-то смеху будет, когда эти дураки вернутся и узнают, что вы до капельки выдули ихнее вино. Ей-богу, люблю иной раз кому-нибудь насолить. Это жизнь меня такой сделала.

— Ясно и самоочевидно, — пролепетал Гнус; держа в руке стакан, он стыдился, что пьет вино Ломана. Ведь ученик, плативший за это вино, был не кто иной, как Ломан. Ломан был здесь и удрал раньше других. Наверно, он и сейчас где-то поблизости. Гнус покосился на окно: на занавеске по-прежнему виднелся бесформенный контур чьей-то головы. Гнус знал: стоит ему подскочить к окну, и голова скроется. Внутреннее чувство подсказывало ему, что это Ломан. Ломан, худший из всех, высокомерно стороптивный и даже не называвший его «этим именем». Ломан был тем невидимым духом, с которым единоборствовал Гнус. Двое других не были духами, и они не довели бы его до этих зланных мест, до необычных поступков, которые он теперь совершал, до уборной артистки Фрелих, где он теперь сидел, вдыхая запахи грима и искусительных костюмов. Но из-за того же Ломана ему надо было оставаться здесь. Уйди он, Ломан немедленно водворится на его место и будет смотреть в пестрое лицо артистки Фрелих, а она еще ближе пододвинет свой стул. При мысли, что об этом, слава тебе господи, не может быть и речи, Гнус машинально осушил стакан. Благодатное тепло согрело его внутренности.

Оба толстяка в зале, отдуваясь, закончили очередной номер программы.

Тапер громко заиграл какую-то воинственную мелодию, и два голоса, звенящих честным патриотическим восторгом, с заразительной горячностью запели:

Наш черно-бело-красный флаг,

На мачте гордо рей!

Дрожа от страха, видит враг

Тебя среди морей. {12}

Артистка Фрелих заметила:

— Это их коронный номер, стоит посмотреть.

Она приоткрыла дверь, с таким расчетом, чтобы публика не заметила ее и Гнуса, и подтолкнула его к образовавшейся щелке. Он увидел обоих толстяков, взгромоздившихся на турник; обмотав чресла черно-бело-красными флагами, они с задорным и победоносным видом во все горло распевали:

Где ни появишься вдали

Ты над равниной вод —

Наш флаг, во всех концах земли

Встречаешь ты почет.

Ясно было, что публика взволнована до глубины души. Ряды ее колыхались, и мозолистые ладони хлопали одна о другую.

После каждого куплета наиболее хладнокровные зрители шикали, с трудом восстанавливая спокойствие. По окончании номера разразилась бурная овация.

Артистка Фрелих за дверью сделала широкий жест, как бы охватывающий всю публику, и сказала:

— Ну, разве не дурачье? Ведь любой из них споет эту глупую матросскую песенку лучше, чем наша Густа со своим Кипертом. Киперт и Густа отлично знают цену всем своим штукам. Голоса у них никудышные, и слуха тоже нет. Ну, да раз уж обкрутили пузо флагами — люди и лезут вон из кожи. Если бы публика разбиралась в пении, она бы еще приплату потребовала от наших толстяков. Что, не так разве?

Гнус с нею согласился. Они объединились в горделивом презрении к толпе.

– Смотрите, что сейчас будет, – сказала она и, прежде чем толстяки успели начать свой номер «на бис», высунула голову в зал.

– Го-го-го! – прокатилось там.

– Слышали? – с удовлетворением спросила она. – Целый вечер пялились на меня, а стоило мне неожиданно высунуть нос, и опять ржут, как лошади.

Гнус подумал, что точно такие же звуки слышатся в классе при любом неожиданном происшествии, и решил:

– Все они одинаковы.

Артистка Фрелих вздохнула.

– Ну, сейчас мой черед, хочешь не хочешь – иди в зверинец!

Гнус заторопился.

– Так уж вы.. того.. закройте дверь.

И сам ее захлопнул.

– Мы отвлеклись от темы нашего разговора. Вы должны сказать мне всю правду о гимназисте Ломане. Ваше запирательство только ухудшит его положение.

– Опять за свое? Похоже, что вы маленько тронулись.

– Я учитель! А этот малый заслужил наистрожайшую кару. Исполните же свой долг, дабы преступник не избег правосудия!

– Бог ты мой, да вы, видно, собрались сделать из него котлету. Как, вы говорите, его зовут? У меня плохая память на имена. И как он выглядит?

– Лицо желтоватое; лоб, можно сказать, широкий, и он его так высокомерно морщит, и на лоб, можно сказать, спадают черные пряди. Роста среднего, а движенья у него какие-то небрежные и гибкие, в чем, конечно, выражается разнузданность чувств...

Гнус жестом дописал картину. Ненависть сделала из него портретиста.

– Ну и?.. – спросила артистка Фрелих, двумя пальчиками дотронувшись до уголка губ. Но Ломан уже стоял перед ее глазами.

– Он – суммирую – довольно-таки фатоват и вдобавок еще вводит людей в заблуждение, заставляя их полагать, что его меланхолические и небрежные повадки – нечто врожденное, а не следствие презренного и недостойного тщеславия.

Она прервала его:

– Хватит! Рада бы вам служить, да об этом мальце мне сказать нечего.

– Вдумайтесь! Дальше!

– Увы! – Она состроила гримасу.

– Я знаю, что он был здесь; тому имеются доказательства!

– Ну, значит, вы все равно его застукаете, что тут разговаривать.

– У меня в кармане домашняя тетрадь Ломана; если я вам ее покажу, вы не сможете больше отпираться.. Так как же, показать, фрейлейн Фрелих?

– Умираю от любопытства.

Он сунул руку в карман, вытащил ее, ничего не захватив, краска залила его лицо, – еще раз собрался с силами.. Она читала стихи Ломана, запинаясь, как ребенок читает по букварю, и вдруг вскипела:

– Нет, это, ей-богу, низость. «Коль в интересном положении...» Посмотрим еще, кто раньше окажется в интересном положении. – Потом задумчиво добавила: – А он не так глуп, как я думала.

– Вот видите! Значит, он вам знаком!

Она быстро поправилась:

– Кто вам сказал! Э, нет, милашка, меня не поймаетшь!

Гнус кинул на нее язвительный взгляд. И вдруг топнул ногой: столь беззастенчивая ложь вывела его из себя. Не подумавши, он и сам соврал:

– Уж я знаю, я его видел!

– Тогда все в порядке, – спокойно ответила она. – Во всяком случае, теперь меня разобрала охота с ним познакомиться.

Она неожиданно наклонилась, так что ее грудь коснулась его плеча, легонько провела пальцем у него под подбородком, дотронулась до плешивого местечка в бороде и вытянула губы, как сосунок.

– Представьте его мне, идет?

И не удержалась от смеха: лицо у Гнуса было такое, словно эти тонкие пальчики сдавили ему глотку.

— Да, ваши гимназисты шустрые ребята. Наверно, оттого, что у них такой шустрый учитель.

— Который же из них вам, так сказать, больше нравится? — со страшной тоской спросил Гнус.

Она отодвинулась, и лицо ее без всякого перехода вновь приняло смиренное и благоразумное выражение.

— А с чего вы взяли, что мне вообще нравится кто-нибудь из этих дурачков? Ах, если бы вы знали... Ей-богу, я бы отдала всех этих вертопрахов за почтенного человека, в зрелых годах, с добрым сердцем и практической сметкой, у которого не одни только развлечения в голове... Ну, да что вы, мужчины, в этом понимаете, — не без грусти добавила она.

Вернулась чета толстяков. Жена, еще не отдышавшись, поинтересовалась:

— Ну, как он себя вел?

Рояль опять заиграл.

— Пора и за работу. — Артистка Фрелих накинула на плечи шаль и стала еще пестрее.

— А вас уж, наверно, домой тянет? — спросила она. — Ничего удивительного, у нас тут не райские кущи. Но завтра вы должны прийти; ваши гимназисты, того и гляди, опять набезобразничают. Ну, да вы и сами это понимаете.

И ушла.

Гнус, окончательно сбитый с толку этим неожиданным заключением, не возражал.

Артист открыл двери.

— Идите за мной следом, и все обойдется спокойно.

Гнус поплелся за ним по свободному проходу, которого он раньше не заметил. За несколько шагов до двери артист круто повернул назад. Гнус еще раз увидел промелькнувшие в глубине зала обнаженные руки, плечо, над дымом и гамом посреди пестрого вихря взблеснул ярко освещенный кусок нагого тела... Вынырнувший откуда-то хозяин с пивом крикнул:

— Доброй ночи, господин профессор! Не забывайте наше заведение! Милости просим!

В подворотне Гнус помешкал, стараясь очнуться. Под действием холодного воздуха ему уяснилось — не выпей он вина и пива в неурочный час, всей этой истории бы не было.

Едва выйдя из ворот, Гнус отпрянул: к стене жались три фигуры. Он скосил на них глаза из-под очков — да, это были Кизелак, фон Эрцум и Ломан.

Он круто повернул; позади него слышалось пыхтенье, явно негодующее; так пыхтеть могла только самая широкая из трех грудей — грудь фон Эрцума. Затем раздался скрипучий голос Кизелака:

— В доме, из которого кто-то сейчас вышел, царят гнуснейшие нравы.

Гнус вздрогнул и заскрежетал зубами — от ярости и страха.

— Я вас в порошок сотру. Завтра обо всем — так сказать — доложу директору.

Никто не отвечал. Гнус снова повернул и крадучись ступил несколько шагов среди зловещего молчания.

Потом Кизелак медленно проговорил три слова. У Гнуса за это время трижды пробежали по спине мурашки:

— И мы доложим.

Глава пятая

Ломан, граф Эрцум и Кизелак гуськом прохаживались по залу. Когда они поравнялись с эстрадой, Кизелак пронзительно свистнул.

— В каталажку! — скомандовал он, и они протиснулись в артистическую.

Толстуха что-то чинила.

— Ну? — сказала она. — Куда это вы подевались, молодые люди? Нас тут развлекал ваш учитель.

— Мы с ним не знаем, — объявил Ломан.

— Почему так? Очень образованный человек, а главное, ничего не стоит обвести его вокруг пальца.

— Ну и обводите!

— Да что вы, смеетесь, я-то тут причем? Хотя кое-кому из нас...

Она не договорила, потому что Кизелак пощекотал ее под мышками, предварительно убедившись, что никто их не видит.

— Полегче, полегче, мальчик. — Она сняла пенсне с кончика носа. — Попадется на глаза Киперту, уж он вам покажет.

— А разве он кусается? — спросил Кизелак, не меняя позы. В ответ она таинственно кивнула, словно убеждая ребенка, что домовой и вправду существует.

Тут вмешался Ломан. Засунув руки в карманы, он развалился на стуле у зеркала.

— Ты нахал, Кизелак, и, несомненно, пересолил с Гнусом. Зачем тебе понадобилось дразнить его, когда он уж и без того уходил? Он ведь тоже только человек, и нечего ему приписывать сверхчеловеческую подлость. А теперь он может здорово подвести нас.

— Пусть попробует, — хвастливо отвечал Кизелак.

Эрцум сидел посреди комнаты, упершись локтями в стол; он что-то бурчал себе под нос: его красное лицо под рыжей щетинистой шевелюрой, блестящей в свете лампы, было упорно обращено к двери. Внезапно он стукнул кулаком по столу.

— Если эта скотина еще раз сунется сюда, я ему все кости переломлю!

— Здорово! — заметил Кизелак. — Тогда он не сможет вернуть нам наши сочинения. Мое — сплошная чушь!

Ломан с улыбкой следил за ними.

— Малютка, видно, основательно вскружила тебе башку, Эрцум. В тебе говорит настоящая любовь.

В зале стихли аплодисменты, и дверь открылась.

— Сударыня, здесь из-за вас готовится убийство, — объявил Ломан.

— Оставьте при себе ваши глупые остроты, — сердито отрезала она. — Я говорила с вашим учителем; он тоже от вас не в восторге.

— Что ему надо, этому старому ослу?

— Сделать из вас котлеты — больше ничего.

— Фрейлейн Роза! — пролепетал Эрцум; с того момента, как она вошла в комнату, спина его выражала смирение, а взгляд мольбу.

— С вами тоже каши не сварить, — заявила она. — Надо было сидеть в зале и хлопать что есть мочи. Какие-то проходимцы собирались меня освистать.

Эрцум бросился к двери.

— Где они, покажите, где?

Она потянула его назад.

— Скандальте, скандальте, господин граф. Меня сегодня же вечером вышвырнут отсюда. И вы отвезете меня в свой дворец!

— Вы не правы, сударыня, — сказал Ломан. — Он сегодня опять бегал к своему опекуну, консулу Бретпоту. Но этот мещанин ничего не смыслит в великих страстях и денег ему не дает. Эрцум, если б это от него зависело, готов был бы сложить к вашим ногам все: имя, блестящую будущность, состояние. Ей-богу, он достаточно прост, чтобы так это и сделать. Поэтому, сударыня, грех вам злоупотреблять его простотой. Пожалейте его!

— Я сама знаю, что мне делать, трещотка вы этакая.. У вашего дружка хоть и не такой длинный язык, да зато больше шансов, что он у меня..

— Дойдет до конца соответствующего класса, — закончил Кизелак.

— А вас я насквозь вижу, вы — грязный шептун. — Она поближе подошла к Ломану. — Здесь вы строите из себя недотрогу, а за спиной сочиняете про людей невесть какие пакости.

Ломан смущенно рассмеялся.

— Запомните, вы последний, кому я дам повод хвастаться тем, что я в интересном положении. Понятно вам? Последний.

— Ну что ж! Последний так последний. Я подожду, — со скучливой миной отвечал

Ломан, и как только она повернулась к нему спиной, вытянул ноги и поднял глаза к

потолку. Ведь он-то присутствовал здесь не в качестве заинтересованного лица, а как иронизирующий зритель. Ему до нее никакого дела нет. С его, Ломана, чувствами дело обстоит куда серьезнее, но об этом никто никогда не узнает... Его панцирь – насмешка...

Передохнувший рояль снова забренчал.

– Роза, твой любимый вальс, – сказала толстуха.

– Кто хочет танцевать? – спросила Роза. Она уже покачивала бедрами и улыбалась Эрцуму. Но Кизелак опередил мешковатого графа. Он обнял Розу, закружился с нею и вдруг – коварно ее оттолкнул. Она чуть не упала. При этом он показал ей язык и исподтишка ущипнул в зад. Она испугалась и сказала сердито, но, впрочем, не без нежности:

– Если ты, шельмец, еще раз такое сделаешь, я скажу ему, и он с тебя шкуру спустит.

– Ну, это ты брось, – шепотом посоветовал Кизелак. – У меня тоже найдется, что ему сказать.

Они смеялись, стараясь сохранить неподвижные лица. Эрцум ошалелыми глазами смотрел на них; его красная физиономия покрылась каплями пота.

Ломан между тем пригласил толстуху. Роза отошла от Кизелака и смотрела на Ломана; он был хороший танцор. В его руках толстуха казалась невесомой.

Решив, что с него довольно, Ломан милостиво кивнул своей даме и, не замечая Розы, сел на место. Она подошла к нему.

– Так и быть, потанцую с вами, хоть на что-нибудь, да пригодитесь!

Он пожал плечами, придал своему лицу подчеркнуто безразличное выражение и поднялся. Она вальсировала долго, сладострастно и самозабвенно.

– Может быть, хватит? – учтиво осведомился Ломан.

Она очнулась.

– В таком случае... Я хочу пить! – воскликнула она, с трудом переводя дыхание. – Господин граф, дайте мне чего-нибудь выпить, не то я свалюсь.

– Он и сам-то едва стоит на ногах, – заметил Ломан. – И рожа у него точно пьяная луна.

Эрцум сопел, как будто бы это он все время крутил девицу. Он наклонил бутылку, задрожавшую в его руке, но из нее почти ничего не вылилось. Растерянно взглянул на Розу. Она смеялась. Толстуха сказала:

– Ваш учитель – мастер насчет выпивки.

Эрцум понял. В глазах у него помутилось. Он схватил пустую бутылку за горлышко, как палицу.

– Тс-с! – остановила его Роза. Смерив его пристальным взглядом, она сказала: – Я уронила под стол платок. Поднимите-ка его.

Эрцум наклонился, сунул голову под стол и потянулся за платком. Но колени его подогнулись; он пополз на животе, – Роза не сводила с него глаз, – схватил платок зубами и на четвереньках вылез из-под стола. Так он и замер, с закрытыми глазами, одурманенный жирным пахучим вкусом сероватой тряпки, измазанной гримом. Возле его опущенных век, почти вплотную, но недоступная, стояла женщина, о которой он мечтал днем и ночью, в которую он верил, за которую положил бы жизнь! И потому, что она была бедна, а он еще не был вправе поднять ее до себя, ей приходилось подвергать опасности свою чистоту, общаться с грязными людишками, даже с Гнусом. Страшная и странная судьба!

Налюбовавшись своей затеей, она взяла платок у него из рук и сказала:

– Молодчина, песик!

– Очаровательно! – заметил Ломан.

А Кизелак, поднеся ко рту палец с обгрызанным ногтем, задорно взглянул сначала на одного приятеля, потом на другого:

– Не задаваться! Вы все равно не дойдете до конца класса и не достигнете цели. И подмигнул Розе Фрелих. Сам он уже достиг цели.

Ломан сказал:

– Половина одиннадцатого, Эрцум, твой пастор уже воротился из пивной, и тебе пора бай-бай.

Кизелак что-то шепнул Розе игриво, но с угрозой. Когда оба других вышли, он уже куда-то исчез.

Приятели зашагали к городским воротам.

— Я могу тебя проводить подальше, — заметил Ломан. — Мои старики на балу у консула Бретпота. А почему, спрашивается, нашего брата не приглашают? Там отплясывают гусыни, вместе с которыми я брал уроки танцев.

Эрцум что есть силы замотал головой:

— Такой женщины там не встретишь! Во время летних каникул я видел на семейном празднике всех эрцумовских барышень, не считая эрцумовских супругов, в девичестве Пюггелькрок, в девичестве Алефельдт, в девичестве Каценелленбоген...

— И так далее.

— И ты думаешь, хоть у одной из них было это?

— Что именно?

— Одним словом, это. Сам знаешь. И еще то, что насущно важно в женщине, так сказать, душа.

Эрцум сказал «так сказать», потому что застыдился слова «душа».

— И вдобавок носовой платок, какого пи у одной Пюггелькрок не същется, — закончил Ломан.

Эрцум не сразу понял намек.

Он прилагал все усилия, чтобы разобраться в темных инстинктах, толкнувших его на столь странный поступок.

— Не думай, — начал он, — что я устраиваю такие сцены непреднамеренно. Я хочу показать ей, что, несмотря на низкое происхождение, она стоит выше меня и что я всерьез собираюсь возвысить ее до себя.

— Так ведь она же выше тебя.

Эрцум и сам удивился этому противоречию. Он пробормотал:

— Вот посмотришь, как я поступлю!.. Эта собака Гнус второй раз живым к ней в уборную не войдет.

— Боюсь, что ему также хочется отбить у нас охоту к этим посещениям.

— Пусть попробует.

— Впрочем, он ведь трус.

Оба они тревожились, но больше на эту тему не говорили. Они шли меж пустынных полян; летом здесь устраивались народные праздники. Эрцуму, у которого при виде ночных просторов и звездного неба отлегло от сердца, сейчас казалось, что можно найти выход на свободу из мешанской дыры, из насквозь пропыленной гимназии, где томилось в дурацких оковах его большое деревенское тело. Ибо, полюбив, он понял, как нелепо выглядит на школьной скамье, когда, стараясь втянуть свою бычью шею, отвечает урок с запинками, неверно, беспомощный оттого, что худосочный, кривобокий учителяшка на кафедре не сводит с него ядовитого взора да еще шипит вдобавок. Все его усмиренные здесь мускулы изнывали от бездействия, они нуждались в том, чтобы разить шпагой, молотить цепом, подымать женщину высоко над головой, останавливать мчащегося быка. Его мозг жаждал пахнущих землей и травой крестьянских помыслов, осязаемых понятий, коренящихся глубоко в почве, а не прорастающих в хлипкой атмосфере классической премудрости, от которой у него спирало дыхание; жаждал соприкосновения с нагой черной землей, налипающей на подошвы охотничьих сапог, ветра, что бьет в лицо галопирующему всаднику, гама битком набитых шинков, лая собачьей своры, дымки над осенним лесом или над только что оброненными лошадью яблоками навоза... Три года назад скотница, которую он защитил от джего пастуха, в знак благодарности опрокинула его на сено. Это воспоминание делало образ певички Розы Фрелих еще более волнующим. Эрцум виделось бескрайнее серое небо, слышались громкие звуки, дразнящие запахи. Она пробуждала в нем все, что было его душой. Он же оказывал ей честь, считая это ее душой, считая, что у нее много, много души и что потому-то она и стоит так высоко над ним.

Гимназисты подошли к дому пастора Теландера. Его украшали два балкона, покоившиеся на столбах, увитых диким виноградом, — один посередине второго, другой — посередине третьего этажа.

— Твой пастор уже дома, — заметил Ломан, указывая на освещенное окно во втором этаже.

При их приближении свет погас.

Эрцум с озлоблением, но опять уже с тупой покорностью взглянул на приотворенное окно вверх — туда ему предстояло взобраться. В комнате за этим окном от его, Эрцума, одежды, от книг, от всего пахло классом. Запах класса преследовал его днем и ночью.. Он прыгнул сердито, неуклюже, полез по лозам, задержался на перилах нижнего балкона и снова поглядел на свое окно.

— Надолго моего терпенья не хватит, — объявил он сверху. Затем вскарабкался выше, ударом ноги распахнул окно и спрыгнул в комнату.

— Приятных сновидений, — сказал Ломан с незлобивой насмешкой и пошел прочь, не стараясь приглушать шорох своих шагов.

Пастор Теландер, погасивший свет, чтобы ничего не видеть, конечно, не поднимет шума из-за ночной прогулки графа Эрцума, за чье содержание ему уплачивается четыре тысячи марок ежегодно.

Едва пройдя палисадник, Ломан унесся мыслями к Доре.

Итак, Дора дает сегодня большой бал. Прикрыв лицо веером, она сейчас смеется своим странным, жестоким и томным смехом креолки. Возможно, что ей вторит ассессор Кнуст, возможно, что сегодняшней вечер все решит для него. Ведь с лейтенантом фон Гиршке, видимо, кончено..

Ломан втянул шею, впился зубами в нижнюю губу и стал прислушиваться к своим страданиям..

Он любил консульшу Бретпот, тридцатилетнюю женщину. Любил с того самого дня, когда — три года назад — в ее доме состоялся урок танцев. Она приколотла ему котильонный орден{13} — о, только затем, чтобы сделать приятное его родителям, он это знал. С тех пор он видел ее разве что сквозь щелку двери, на больших балах, дававшихся консулом Ломаном, на которые он не допускался, — видел ее и ее любовников. Бедняга! Дверь могла каждую секунду распахнуться, и он стоял бы там, уничтоженный, истерзанный болью; все было бы открыто. В таком случае, — это было его твердое решение, — он покончил бы с собой. Старое ружье, с которым он охотился в амбаре за крысами, лежало наготове.

Он с отеческим дружелюбием относился к ее сыну, четверокласснику, давал ему списывать свои старые сочинения. Ломан любил ее дитя! Однажды, когда, поспешив на выручку юному Бретпоту, он ввязался в ребячью драку, ему померещились насмешливые улыбки на многих лицах. Ружейное дуло уже оборачивалось к его груди.. Но нет, никто ни о чем не подозревал; он мог и впредь думать о ней, разыгрывать перед самим собой неистовое целомудрие, сладострастные муки, тщеславное, робкое, утешительное в его семнадцать лет презрение к миру, мог по ночам писать стихи на обратной стороне старого котильонного ордена..

И его, скорбящего, нежно влюбленного, такая девица, как эта Роза Фрелих, пыталась расшевелить своей любовью! Злее насмешки не выдумаешь. Он писал стихи о ней тоже, но что с того? Разве искусству не безразличен объект? Если она полагает, что это имеет какое-то значение.. Она притворилась обиженной, он рассмеялся ей в лицо, ее это только пуще раззадорило. Право, его вины тут нет; вряд ли он станет домогаться любви певички из «Голубого ангела». Там, в зале, найдется немало матросов и коммивояжеров, которых она осчастливила за сумму от трех до десяти марок.

Но, может быть, это все же льстит ему? Стоит ли отрицать? Бывали минуты, когда ему хотелось видеть эту девушку у своих ног, когда он желал ее — чтобы унижить, чтобы ощутить в ее ласках вкус мрачного порока и этим пороком запятнать собственную свою любовь, в этой на коленях молящей его девке унижить другую, Дору Бретпот, а затем упасть к ее ногам и вволю выплакаться!

Содрогаясь от этих мыслей, Ломан завернул на Кайзерштрассе, подошел к залитому огнями дому консула Бретпота и стал ждать, не промелькнет ли среди скользящих в окнах теней ее тень.

Глава шестая

Наутро Эрцум, Кизелак и Ломан были очень бледны. Среди шумливых одноклассников каждый из них чувствовал себя преступником, делом которого уже занялся прокурор, а близкие еще ничего не подозревают. Время меж тем исчислялось минутами...

Кизелак, подслушивавший у дверей директорского кабинета, уверял, что слышал там голос Гнуса. Он забыл о хвастовстве и, закрывшись рукой, сквозь зубы процедил на ухо Эрцуму: «Дело дрянь, старина». Ломан сейчас охотно поменялся бы местами с самым нищим из «нищих духом».

Гнус вошел торопливо, запыхавшись, и немедленно взялся за своего Овидия{14}. Для начала он вызвал первого ученика Ангста и велел наизусть читать заданные стихи. За ним последовали ученики на букву В. Затем он вдруг перескочил на М. Кизелак, Ломан, а затем и Эрцум с изумлением убедились, что их фамилии обойдены.

По переводу их тоже не спрашивали. Они страдали от этого, хотя, как всегда, не подготовились. Им казалось, что они изгнаны из общества, что их уже постигла гражданская смерть. Что он задумал, этот Гнус? На перемене они избегали друг друга: как бы кто не заподозрил, что их связывает недобрая тайна.

Три следующих урока с другими учителями они непрерывно терзались страхом. Шаги на дворе, скрип лестницы: директор!.. Но ничего не случилось. Урок греческого Гнус провел так же, как и урок латыни. Кизелак с отчаяния поднял руку, хотя ничего не мог бы ответить. Гнус его не замечал. Тогда он стал после каждого вопроса вскидывать вверх свою синюю лапу да еще щелкал пальцами в воздухе. Ломан, устав ждать, раскрыл под партой «Богов в изгнании»{15}. Эрцум, снова поработанный, уничтоженный гимназист, как всегда, лез из кожи вон, чтобы угнаться за классом, и как всегда, отставал.

Уходя, они ждали, что служитель со зловещей улыбкой позовет их к директору. Ничего подобного: человек с колокольчиком просто снял шапку перед молодыми господами. На улице все трое переглянулись, стараясь не дать воли своему торжеству.

Но Кизелак не выдержал.

— Видали? Я же вам говорил, что он не посмеет.

Ломан досадовал на свой страх.

— Если он воображает, что ему удастся провести меня...

Эрцум его прервал:

— Погоди, неизвестно, что будет дальше. — И вдруг, рассвирепев, добавил: — Пусть попробует! Я уж знаю, что мне делать.

— Могу себе представить, — заметил Ломан. — Сначала ты вздуешь Гнуса, потом привяжешь к себе веревкой Фрелих и бросишься с ней в реку.

— Нет... не так, — удивленно протянул Эрцум.

— Ну, дети мои, вы совсем скисли, — сказал Кизелак, и они распрощались.

Ломан заметил напоследок:

— Меня, собственно, совсем не тянет в «Голубой ангел», но и труса праздновать я не намерен; теперь уж я обязательно туда пойду.

Вечером он и Эрцум почти одновременно подошли к «Голубому ангелу» и остановились, поджидая Кизелака. Его они всегда пропускали вперед; он первый входил в актерскую уборную, первый открывал рот, первый уютно там располагался.

Без Кизелака у них бы ничего не получилось, им был нужен он и его нахальство.

Денег у Кизелака не было, им приходилось платить за него, и Кизелак опасался, как бы они не заподозрили, что цветами, вином и подарками Розе Фрелих оплачивают его, Кизелака, тайные радости.

Наконец он появился, при виде приятелей несколько не прибавив шага, и они вошли в дом. Хозяин сообщил им, что в уборной у Розы Фрелих сидит учитель. Они растерянно переглянулись и ударились в бегство.

Накануне ночью, благополучно добравшись до дому, Гнус встал возле своей конторки и зажег настольную лампу. Печка еще дышала теплом, часы тикали, Гнус перелистал свою рукопись и проговорил:

— Истинны только дружба и литература.

Он чувствовал, что освободился от актрисы Фрелих и что «посторонние занятия», которым предавался гимназист Ломан, ему теперь глубоко безразличны.

Но, проснувшись в предрассветной мгле, понял, что не успокоится, пока гимназист Ломан не будет «пойман с поличным». Правда, он тотчас же занялся партикулами Гомера, но дружба и литература больше не увлекали его. И никогда не увлекут, — он это ясно чувствовал, — покуда Ломан беспрепятственно сидит у актрисы Фрелих! А как этому воспрепятствовать, его надоумила сама же актриса Фрелих; она ведь сказала: «Приходите завтра опять, а то ваши ученики здесь набезобразничают...» Вспомнив эти слова, Гнус покраснел. Они словно воскресили голос актрисы Фрелих, ее дразнящий взгляд, ее пестрое лицо и два тонких пальца, которыми она дотронулась до его подбородка... Гнус пугливо оглянулся на дверь и, точно ученик, старающийся укрыть «посторонние занятия», с лицемерным усердием склонился над своей работой.

И все это три головореза — ясно и самоочевидно — видели сквозь красную занавеску. Если он, Гнус, потащит их на суд к директору, терять им будет уже нечего, и, откинув остатки стыда, они, чего доброго, отважатся предать гласности увиденное. В списке преступлений Ломана значилось и оплаченное им вино, которое выпил Гнус... Пот прошиб его. Он в ловушке. Враги будут утверждать, что не Гнус поймал Ломана с поличным, а наоборот... Сознание, что ему предстоит более грозное, чем всегда, единоборство с целой армией мятежных учеников, укрепило дух Гнуса, придало ему уверенности, что еще многим из них он испортит, а не то и вовсе погубит карьеру.

Исполненный страстной решимости, он отправился в гимназию.

Для того чтобы сцапать троих преступников, оснований имелось достаточно. С Ломана, например, хватило бы его бесстыдного сочинения. Перед тем как выставить недельные отметки, Гнус спросит всех троих, и спросит так, что ответить они не смогут. Он уже придумал кое-какие вопросы... Но когда городские ворота остались позади, им овладели сомнения, и, по мере того как он приближался к гимназии, будущее рисовалось ему во все более мрачных тонах.

Трое мятежников, вероятно, уже взбунтовали весь класс рассказами о «Голубом ангеле». Как он встретит своего наставника? Революция вспыхнула. Страх тирана, под которым качается престол, давил, мял его, словно беспорядочно отступающая конница. Отравленный страхом, он тревожно оглядывался на перекрестках, ища гимназистов — тираноубийц.

Войдя в класс, Гнус уже не был зачинщиком войны. Он выжидал, чаял спасенье в том, чтобы замолчать события вчерашней ночи, скрыть опасность, не видеть троих преступников... Гнус собрал все свое мужество. Он не знал, каким страхом терзаются Кизелак, Эрцум и Ломан; но и они не знали о его страхе.

По окончании занятий он, как и они, вновь воспрял духом. Ломану не придется злорадствовать. Его надо удержать вдали от актрисы Фрелих; добиться этого для Гнуса — вопрос власти, вопрос самоуваженья. Но как? «Завтра вы должны прийти опять», — сказала она. Ничего другого ему не оставалось; осознав это, Гнус испугался. И в этом испуге было что-то сладостное.

Он был так возбужден, что отказался от ужина и, несмотря на протесты своей домоправительницы, тотчас же вышел из дому, чтобы первым прийти в «каталажку» — в уборную актрисы Фрелих. Не будет Ломан сидеть у нее и потягивать вино. Это мятеж, а Гнус не потерпит мятежа. О дальнейшем он не размышлял.

Впопыхах добравшись до «Голубого ангела», он не сразу заметил цветную афишку на воротах и несколько секунд в полнейшей растерянности искал ее... Слава богу, вот она! Значит, актриса Фрелих не уехала внезапно, чего он только что так боялся, не сбежала, не провалилась сквозь землю. Она еще пела, еще ослепляла своей пестротой, дразнила манящим взглядом. Из чувства облегчения, испытанного им, Гнус сделал вывод: удержать гимназиста Ломана вдали от актрисы Фрелих

недостаточно, Гнус сам хочет сидеть у нее... Но эта мысль только вспыхнула в его мозгу и тотчас же погасла.

Пустой и полутемный зал казался огромным сараем, а бесчисленные грязно-белые стулья и столы, сдвинутые с мест, напоминали стадо баранов на лугу.

Возле печки при свете маленькой жестяной лампы сидел хозяин с какими-то двумя мужчинами; они играли в карты.

Стремясь проскользнуть незамеченным, Гнус, точно летучая мышь, жался к темной стене. Когда он уже готовился переступить порог артистической, хозяин крикнул ему, и этот возглас оглушительно прозвучал в пустых стенах:

— Добрый вечер, господин профессор, очень рад, что вам понравилось в моем заведении.

— Я только хотел... я имел в виду... артистка Фрелих...

— Зайдите туда и подождите ее, ведь сейчас только семь часов. Я принесу вам пива.

— Благодарю, — в свою очередь, закричал Гнус, — мне что-то не хочется пить... Но позднее... — он высунул голову из двери, — я, видимо, закажу хороший ужин.

С этими словами он закрыл дверь и ощупью стал пробираться в непроглядной темноте уборной. Когда ему удалось зажечь свет, он убрал со стула чулки и корсеты, уселся возле стола, на котором ничто не изменилось со вчерашнего вечера, вынул из кармана записную книжку и из цифр, проставленных вслед за фамилией каждого ученика, принялся составлять предварительную оценку успеваемости. После первых букв он торопливо перескочил на М, совсем как утром в классе. Потом вдруг начертал яростные «неудовлетворительно» против фамилий Кизелака, Ломана и Эрцума. В комнате было тихо и покойно, а рот Гнуса кривился от жажды мести.

Немного позже в зале, видимо, появились первые гости. Гнус встревожился. Вошла вчерашняя толстуха в черной шляпе с невероятно широкими полями и сказала:

— А, это вы, господин учитель! Право, можно подумать, что вы здесь ночевали.

— Я явился сюда по неотложному делу, уважаемая, — наставительно отвечал Гнус. Но она погрозила ему пальцем:

— Могу себе представить, что это за дело.

Она сняла боа и жакет.

— Ну, а теперь разрешите мне снять кофточку.

Гнус пробурчал что-то нечленораздельное и отвернулся. Она подошла к нему в полинялом капоте и похлопала его по плечу.

— По правде говоря, господин учитель, я ни чуточки не удивилась, что вы опять здесь. Такая уж наша Роза, и мы к этому привыкли. Кто ее узнает поближе, обязательно полюбит, тут ничего не поделаешь. Да и не удивительно, девочка-то ведь — красавица писаная.

— Весьма возможно... — опять-таки в свою очередь, — что вы и правы, уважаемая... но я не потому...

— Понятно! У ней и сердце золотое. А это ведь всего важнее. Господи, да что там говорить!..

Она приложила руку к своему сердцу под незастегнутым капотом. На лице ее изобразилось блаженство, жирный подбородок дрожал от умиления.

— Ей-богу, она готова палец себе отрезать из любви к ближнему! Наверное, это потому, что ее отец был помощником фельдшера. И вот еще что: хотите верьте, хотите нет, а Роза всегда питала слабость к пожилым мужчинам, и не только из-за... — она быстро-быстро потеряла большой палец об указательный, — нет, такое уж у нее сердце. Ведь пожилые мужчины особенно ценят ласковое обхождение... Иногда, правда, она бывает добрее, чем это разрешено полицией. Я-то ведь ее с детских лет помню. От меня можете все узнать, что называется, из первых рук.

Она уселась на край стола, приперла Гнуса своими телесами к спинке стула и, казалось, с головой окунула его в атмосферу своего рассказа.

— Девчонке еще шестнадцати не стукнуло, а она уже бегала по балаганам и путалась с тамошними артистами. Что с нее взять? Артистическая натура... Ну, там... нашелся, значит, один пожилой господин, который захотел дать ей образование. Что это за образование, мы-то уж знаем. Начинается оно с Адама, Евы и кислого яблочка! Раз

как-то прибегает ко мне Роза и ревмя ревет; выходит дело, она уже с начинкой. Я ей, конечно, говорю: не плачь, мы из старикашки все жилы вытянем, тебе ведь еще и шестнадцати-то нет, придется ему потряхнуть мощной, и основательно. А она не соглашается! Ну, виданное ли это дело, а? Жалеет своего старикашку — и ни в какую. Мало того, она опять к нему пошла по доброй воле; вот какой человек! Роза мне показала его на улице — настоящий хлюпик. Никакого сравнения с вами, господин учитель, куда там!

Она игриво ткнула Гнуса двумя пальцами прямо в лицо. И, решив, что он еще недостаточно распалился, повторила:

— Никакого сравнения! Не старик, а просто дрянь! Он скоро умер, и как вы полагаете, что он отказал Розе? Свою фотографию в медальоне с секретным замком. Гляди и лопайся от счастья! Нет, Розе нужен человек поторватее, и чтобы он хорошо сохранился; такой сумеет оценить девочку по достоинству, да и ей придется по вкусу.

— В таком случае, конечно... — Гнус старался найти подобающий оборот для перехода, — как бы там ни было, но тем не менее... — улыбка у него была такая смущенная, что казалась язвительной, — есть основания предполагать, что молодой человек, с одной стороны, не лишенный умственных способностей, и с другой — остроумия, будет иметь больше шансов на успех...

Толстуха живо его прервала:

— Если дело только за этим, так нечего и разговаривать. Мальчишки у нашей Розы — вот где сидят! Я-то уж знаю.

Она с изрядной силой встряхнула Гнуса за плечо, чтобы заставить его физически почувствовать правдивость своих слов. Затем слезла на пол и заявила:

— Хватит языком чесать. Пора мне приниматься за работу, господин учитель, в другой раз я с удовольствием займусь вами.

Она уселась перед зеркалом и стала мазать себе лицо жиром.

— Смотрите лучше на что-нибудь другое, это не слишком красивое зрелище.

Гнус послушно отвернулся. Кто-то взял несколько аккордов на рояле. Зал глухо шумел, видимо, он уже наполнялся.

— А ваши гимназисты, — сквозь зубы проговорила толстуха — она что-то держала во рту, — пусть себе вытягивают шеи и лопаются от зависти.

Гнус поддался искушению и взглянул на окно. За красной занавеской какая-то тень и вправду вытягивала шею.

Из зала донеслось протяжное «го-го-го-го!..». Артистка Фрелих стояла на пороге, дверной проем позади нее заполняла внушительная фигура артиста Киперта. Когда оба они вошли в уборную, Киперт крикнул:

— Весьма польщен, господин учитель, что вы снова здесь!

Артистка Фрелих заметила:

— А-а, вот и он! Ну что ж!

— Возможно, вы удивлены... — промямлил Гнус.

— Ни вот столечко! — отвечала она. — Помогите-ка мне снять пальто.

— ...что я так быстро повторил свой визит...

— С чего б это мне удивляться?

Она подняла руки, чтобы вытащить булавки из громадной красной шляпы с перьями, — шляпа мгновенно стала походить на корзину с ручками, — и из-под полей лукаво улыбнулась Гнусу.

— Но, — он явно был в затруднении, — вы же сами порекомендовали мне снова прийти.

— Ясное дело! — Она взмахнула шляпой, точно огненным колесом, и вдруг выпалила:

— Вот чудила-то!.. Конечно же, я не хочу отпускать вас, старикашечка!

Она уперла руки в боки и почти вплотную приблизила свое лицо к лицу Гнуса.

Он походил на ребенка, испуганного тем, что театральная фея вдруг обронила фальшивую косу. Артистка Фрелих это заметила и поспешила скорей покончить с приступом ревности. Она вздохнула, склонив головку набок.

— Будьте уверены, что мне было совсем не все равно, придете вы или нет. Честное слово, правда. Я все время твердила Густе: ведь он же доктор, профессор, а я

бедная неученая девушка, что я могу дать такому человеку... Ну скажите, фрау Киперт, что я не вру!

Толстуха подтвердила.

— А она, — продолжала актриса Фрелих, невинно передернув плечиками, — Христом-богом клялась, что вы обязательно придете... Так оно и вышло!

Артист Киперт, переодевавшийся в углу, издавал какие-то нечленораздельные звуки. Жена делала ему знаки — потише!

— И с чего это я взяла, что вы пришли из-за меня, — снова заговорила артистка Фрелих, — вы мне даже пальто снять не помогаете. Похоже, что вы явились ради своих поганцев, которых вам надо изрубить на котлеты.

Гнус покраснел и беспомощно огляделся вокруг.

— В первую очередь, разумеется... но, собственно говоря... первоначально...

Она сердито покачала головой.

Толстуха встала из-за стола, намереваясь прийти к ним на помощь. Она уже была во всеоружии — красная блузка с низким вырезом и вчерашний ослепительный цвет лица.

— Почему вы не поможете барышне снять пальто? — осведомилась она. — Дама вас просит, а вы никакого внимания! Так не годится!

Гнус стал тянуть рукав. Рукав не поддавался, актриса Фрелих пошатнулась и упала в его объятия. Растерявшись, он замер.

— Вот как надо это делать! — наставляла его толстуха.

К ним бесшумно приблизился ее супруг, уже в трико, от бедра к бедру через весь живот у него змеилась толстая складка жира, на шее красовалась волосатая бородавка. Он поднес к глазам Гнуса маленькую газетку.

— Прочитайте-ка, господин учитель. Здорово же они разделали эту банду.

На лице Гнуса тотчас же изобразилась серьезность знатока, к этому его обязывало печатное слово. Он узнал местный социал-демократический листок.

— Что ж, посмотрим, — отвечал он, — как обстоит дело с этой статьей.

— В ней как раз идет речь об учительских жалованьях, — сказал артист. — Мы с вами вчера об этом толковали.

— Ах, брось, — решительно вмешалась его супруга и отняла у Гнуса газетку. — Жалованья с него и так хватает, ему кое-что другое нужно, а это уж не твое дело. Иди-ка лучше фигурировать перед этими свиньями.

Зал хрюкал, рычал, свистел, заглушая гром рояля. Киперт повиновался. Он мгновенно придал себе тот самовлюбленный вид, что уже вчера поразил Гнуса, упругой подпрыгивающей походкой направился к двери и исчез в еще сильнее зашумевшем зале.

— Ну, этого спланировали! — заметила толстуха. — Покуда они там его переваривают, давайте-ка, господин профессор, переоденем Розу.

— Разве ему можно? — поинтересовалась актриса Фрелих.

— Надо же ему знать, как раздевают и одевают женщину. В жизни все пригодится.

— Что ж, если вы не против. — И актриса Фрелих сбросила юбку. Лиф она уже раньше расстегнула, и Гнус не без страха заметил, что под платьем она вся черная и блестит.

Но еще удивительнее было открытие, что на актрисе Фрелих не нижняя юбка, а широкие черные панталоны до колен. Ее это, видимо, нисколько не смущало, так как вид у нее был самый невинный. Гнусу же чудилось, что ему нашептывают на ухо первооткровения сомнительных таинств, скрытых под respectableм бюргерским покровом, накинутым из уважения к полиции. И он чувствовал гордость, к которой примешивался страх.

Там, за дверью, Киперт сорвал бурные аплодисменты и начал новый номер.

— А теперь ему, пожалуй, лучше отвернуться, — сказала Роза Фрелих. — На мне сейчас ровно ничего не останется.

— Бог с тобой, детка, он же солидный, разумный человек, что ему делается?

Но Гнус уже успел отвернуться. Он напряженно прислушивался к шуршанию за своей спиной. Заторопившаяся толстуха что-то сунула ему.

— А ну-ка, подержите.

Гнус взял, не зная, что именно. Это было нечто черное, легко сжимавшееся в маленький комочек и странно теплое, точно живой зверек. Вдруг он выронил из рук этот предмет, ибо понял, отчего он так тепел. То были черные панталоны! Он быстро поднял их и замер. Густа и артистка Фрелих, занятые своим делом, торопливо обменивались какими-то замечаниями чисто технического порядка. Киперт уже закончил и второй номер.

— Мой выход, — сказала его супруга. — Помогите вы ей одеться. — И, так как Гнус не шевелился, крикнула: — Да вы что, оглохли, что ли?

Гнус вздрогнул: он задремал, как его ученики во время затянувшегося урока; очнувшись, он покорно взялся за шнурки от корсета. Актриса Фрелих улыбалась ему через плечо.

— Почему вы все время от меня отворачивались? Я ведь уж давно в приличном виде. Сейчас на ней была оранжевая нижняя юбка.

— Да и вообще, — продолжала она, — я ведь только из-за Густы велела вам стать спиной. Мне так даже интересно знать, как, по-вашему, я сложена?

Гнус ничего не ответил, и она сердито отвернулась.

— Тяните сильнее!.. Бог ты мой, да говорят же... давайте сюда, где уж вам!

Она зашнуровалась сама. И, так как он продолжал стоять, беспомощно протянув свои праздные руки, спросила:

— Неужто же вы не хотите быть со мной чуточку полюбезнее?

— Я, разумеется... — в смущении бормотал он. Он долго искал слова и наконец объявил, что в черном, да, да, в черной одежде находит ее еще красивее.

— Ах вы поросенок! — ответила актриса Фрелих. Корсет сидел безупречно...

Совместный номер Густы и Киперта имел большой успех.

— Ну, теперь скоро мой выход, — сказала артистка Фрелих, — осталось только «сделать» лицо.

Она села к зеркалу и начала проворно орудовать баночками, флакончиками, цветными палочками. Гнус не видел ничего, кроме ее тонких рук, мелькающих в воздухе, перед его растерянным взглядом происходила какая-то сложная игра бело-розово-желтых линий; они рождались, исчезали, и каждая из них, прежде чем раствориться в небытии, заменялась новой. Ему было велено брать со стола и подавать ей какие-то непонятные предметы. Несмотря на свою лихорадочную деятельность, она выбирала время, чтобы топтать ногой, если он подавал не то, что ей требовалось, и вознаграждать его дразнящим взглядом за проявленную расторопность. Меж тем ее взгляд становился все более и более дразнящим. Гнус наконец понял, что этому немало способствуют карандаши для подрисовки, которые он подавал; красные точки в уголках глаз, красные же линии над бровями и нечто черное и жирное, чем она мазала себе ресницы.

— Надо еще только уменьшить рот, — изрекла она.

И перед ним мгновенно возникло ее вчерашнее, отчаянно пестрое лицо. За туалетным столом сейчас сидела уже подлинная актриса Фрелих. Он был свидетелем ее возникновения и только сейчас уяснил себе это. Ему довелось бросить беглый взгляд на кухню, где изготавливались красота, душа, сладострастие. Он чувствовал себя одновременно и разочарованным, и приобщенным тайн. Он думал: «Это все?» — и тут же: «Но это изумительно». Сердце его учащенно билось, а артистка Фрелих тем временем вытирала о тряпку руки, измазанные той самой жирной краской, которая заставляла биться его сердце.

Затем она укрепила в волосах вчерашнюю диадему... В зале неистовствовали. Она пожалала плечами, покосилась в сторону зала и, нахмурившись, спросила:

— Вам это тоже понравилось?

Гнус ничего не слышал.

— Сейчас я вам покажу, что значит «гвоздь программы». Сегодня я буду петь убийственно серьезный романс, поэтому мне нужно длинное платье... Давайте-ка сюда вон то, зеленое.

Гнус сновал взад и вперед между охапками костюмов, фалды его сюртука развеивались. Зеленое платье наконец нашлось, и в мгновение ока она уже стояла перед ним в какой-то сказочной чешуе, незатянутая в талии, с гирляндой роз,

вьющейся вокруг ляжек и живота. Она взглянула на него, он ни слова не говорил, но выраженьем его лица актриса Фрелих осталась довольна. Она величаво прошествовала к двери. Но, не дойдя до нее, обернулась, вспомнив о жирном пятне сзади, которое в эту минуту созерцал Гнус.

— Ладно, я ведь не нанималась показывать его этим обезьянам, — с бесконечным презрением объявила она и, широко распахнув дверь, милостиво кивнула публике. Гнус отскочил, его могли увидеть.

Дверь осталась непритворенной. В зале кричали:

— Черт возьми! Поди ж ты, в шелковом платье! — и: — Гляди, гляди, все напоказ выставила!

И смеялись там тоже.

Рояль зарыдал. Дисканты слезливо всхлипывали, басы громко сморкались. Гнус услышал, как артистка Фрелих запела:

Плывет луна, сияют звезды в небе.

Твоя любовь на берегу морском

Оплакивает свой печальный жребий...

Звуки, как бледные жемчужины, подхваченные черным потоком, неслись из скорбных глубин ее души.

Гнус думал: «Опять, значит, в свою очередь...» Но сердце его грустило и млело. Он подкрался к двери и стал смотреть, как медленно ложатся и вновь расходятся зеленые складки на платье артистки Фрелих... Она откинула голову назад, в поле зрения Гнуса появилась изогнутая диадема на рыжих локонах и пестрая щека под высоко заломленной черной бровью. За одним из передних столиков восхищенный голос, голос широкоплечего крестьянина в синей шерстяной куртке, произнес:

— Ну и хороша же девка! Дома на жену и глядеть не захочешь.

Гнус со снисходительной благосклонностью посмотрел на крестьянина, он думал: «Ясно и самоочевидно, любезный!»

Этот-то не присутствовал при возникновении актрисы Фрелих! Не знал, что значит красота, не был призван судить о ней, ему оставалось брать ее такой, какой она ему предлагалась, и он должен еще радоваться, что эта красота отбивает ему вкус к жене.

Куплет закончился жалобным:

Рыдаю скорбно я в своем челне —

И смехом вторят звезды в вышине.

Но среди слушателей кто-то смачно расхохотался. Гнус, выведенный из оцепенения, стал тщетно искать голову весельчака среди сотен голов. Второй куплет актриса Фрелих опять начала со слов: «Плывет луна...» В то время как она исполняла припев «И смехом вторят звезды в вышине», засмеялось еще человек шесть или семь. Один из них, посреди зала, гоготал, точно негр. Гнус нашел его, это и вправду был негр! Чернокожий заразил смехом соседей. Гнус видел, что многие лица начинают подергиваться от смеха. У него руки чесались привести мускулы этих лиц в спокойствие. Он переминался с ноги на ногу и страдал...

Актриса Фрелих в третий раз возвестила:

Плывет луна...

— Это мы уже слышали, — решительно проговорил чей-то громкий голос. Несколько благонамеренных людей запротестовали против возрастающего шума. Но смех черномазого оказался не в меру прилипчивым. Гнус увидел, что целые ряды уже сидят, до ушей раскрыв зияющие пасти с двумя желтыми клыками и зияющим провалом посередине или полумесяцами белых зубов, сверкающих над полукруглой морской бородкой или под щеточкой усов на верхней губе. Гнус узнал торгового ученика, бывшего гимназиста, который вчера так нахально осклабился при встрече с ним на крутой улочке, а теперь во всю ширь разевал пасть в честь актрисы Фрелих. Он почувствовал, что ярость туманит ему мозги, трусливая ярость тирана. Все, что касалось актрисы Фрелих, кровно касалось и его! Он одобрил ее, следил из-за кулис за ее выступлением, был связан с нею, можно сказать — сам вывел ее на подмостки! Те, кто не признает актрису Фрелих, наносят оскорбление ему, Гнусу!

Он ухватился за дверной косяк, потому что его так и подмывало ринуться в зал и угрозами, пинками, страшными карами привести к повиненью всю мятежную толпу беглых школяров.

Мало-помалу он высмотрел человек пять-шесть своих бывших учеников. Зал кишел бунтарями старых выпусков! Толстый Киперт и толстая Густа, расхаживая между столиков, пили из стаканов гостей, — зарабатывали себе популярность. Гнус презирал их за недостойное панибратство. На недостижимой высоте в зеленом шелковом платье с изогнутой диадемой в волосах стояла актриса Фрелих. Но публика отвергала ее, ей кричали:

— Хватит! Убирайся! Сматывай удочки!

И Гнус не мог этого изменить! Ужасно! Он мог запирать учеников в каталажку, заставлять их писать сочинения о том, чего и в природе не существовало, подчинять своей воле их поступки, насиловать их убеждения, мог, если какой-нибудь ученик осмеливался думать, одернуть его: «Думать не разрешаю!» Но он не мог заставить их находить прекрасным то, что было прекрасно по его непреложному мнению. Может быть, это было последнее убежище их злобной строптивости.

Деспотизм Гнуса натолкнулся здесь на предел человеческой способности к повиновению.. Это было невыносимо! Задыхаясь, он ловил воздух ртом, озирался по сторонам, ища выхода из тупика своего бессилия, метался, одержимый желаньем раскроить череп хоть одному такому тупице и корявыми пальцами вложить в него понимание красоты.

И подумать только: актриса Фрелих оставалась безмятежно-спокойной да еще посылая ручкой воздушные поцелуи этим злобным крикунам! Как она величественна в своем поражении! Вот она стала вполоборота к публике и что-то говорит аккомпаниатору там, внизу. И ее лицо, веселое и приветливое, внезапно, как в кинематографе, принимает огорченное, злое выражение. Гнусу показалось, что она нарочно затягивает разговор с аккомпаниатором и все больше отворачивается от публики.. Больше, но не совсем, а то станет видно жирное пятно па платье.. Вдруг она вызывающе тряхнула головой, подобрала зеленое платье, задрала выше колен оранжевую нижнюю юбку и решительно запела:

Ведь я невинная малютка..

Отвага актрисы Фрелих была вознаграждена, ей аплодировали, кричали «бис».

Возвратившись в уборную и с силой захлопнув за собой дверь, она спросила, еще не отдышавшись:

— Ну как? Здорово я выкрутилась, а?

Итак, всем на радость, ошибка была исправлена; только в глубине зала, у самого выхода, прислонившись к стене, стоял Ломан, опустив мертвенный, отсутствующий взгляд на свои скрещенные руки, и думал о том, что его стихи, осмеянные чернью, несутся сейчас по воздушным волнам над темными улицами к окну одной спальни; они стукнут в него тихо-тихо, и никто не услышит их..

Толстуха Густа и Киперт вернулись в уборную. Актриса Фрелих вскинула голову и обиженным голосом сказала:

— Больше уж вы меня не уговорите выступить с дурацкой песней этого олуха.

Гнус слышал ее слова, но не понял, о чем речь.

— Публика, детка моя, народ ненадежный, — пояснила толстуха, — пора бы знать. Не будь там негра, они бы плакали, а не гоготали.

— В общем-то мне наплевать, — сказала актриса Фрелих, — если профессор позаботится о том, чтобы мы пропустили глоточек. Что у них там есть в буфете?

И, как вчера, легонько дотронулась двумя пальцами до его подбородка.

— Вина? — догадался Гнус.

— Молодчина! — одобрила актриса Фрелих. — Да только какого?

Гнус был несведущ в винах. Он озирался, надеясь на подсказку, как запнувшийся школьник.

Супруги Киперт с интересом смотрели на него.

— Начинается на ш, — и вправду подсказала актриса Фрелих.

— Шато, — закончил Гнус, он даже вспотел. Трактирная терминология давалась ему нелегко. Он повторил: — Шато.

— И совсем не то, — в рифму отвечала она. — Дальше идет ам, шам..

Гнус стал в тупик.

— Ей-богу, не пойму, как это вам в голову не приходит. Даже удивительно.

Внезапно лицо Гнуса озарилось наивным счастьем. Догадался!

— Шампанское!

— Наконец-то! — воскликнула актриса Фрелих.

Густа и Киперт подтвердили правильность его догадки. Артист пошел в буфет передать заказ. Когда он возвращался через залу, хозяин заведения собственноручно нес перед ним ведро, из которого торчали горлышки двух бутылок. Киперт, затянутый в трико, раздувал щеки, и все вокруг покатывалось от хохота.

В артистической уборной стало шумно. Когда наполнялись бокалы, Гнус всякий раз думал, что это его вино и тут уж Ломану не примазаться. Вдруг актриса Фрелих тоже сказала:

— На шампанское ваши желторотые ни разу не расщедрились. — Взгляд ее делался все лукавее: — Да я бы их и не стала просить.

Лицо Гнуса оставалось бесстрастным, и она тяжело вздохнула. Киперт поднял свой бокал.

— Господин профессор: за тех, кого мы любим!

Он подмигнул Гнусу и актрисе Фрелих, которая досадливо пробормотала:

— Вздор! Куда уж ему скумекать.

Толстухе надо было переодеться для следующего выхода, так как после пения опять шли акробатические номера. Она заметила:

— Нет уж, любоваться тем, как я влезаю в трико, я господину профессору не позволю. Так далеко наша дружба еще не зашла. — Она поставила друг на дружку три стула и на спинки навесила платья. Высота этой стены была достаточная, но в ширину Густа ее превосходила. Из-за импровизированной ширмы то и дело выставлялись ее телеса, и присутствующие громко вскрикивали. Актриса Фрелих хохотала, уронив руки на стол; на Гнуса ее веселье подействовало так заразительно, что он, вытянув шею, нет-нет да и косился на Густа. Толстуха взвизгивала, Гнус менял позу и снова не без робости принимался за ту же игру.

Актриса Фрелих с усилием поднялась со стула, перевела дыхание и заметила:

— Со мною он бы себе такого не позволил, с места не сойти, если я вру.

И прыснула.

Публика алчно требовала искусства, пианисту уже не удавалось держать ее в узде. Толстяки поспешили на сцену.

Оставшись наедине с Гнусом, актриса Фрелих притихла. Он же окончательно растерялся. Несколько мгновений в уборной царил тишина, только пение доносилось со сцены. Она прервала молчание:

— Опять эта дурацкая матросская песенка на турнике. Вот посмотрите, я им отобью охоту ее исполнять!.. Ну, а вы-то хороши, не заметили здесь никакой перемены.

— Перемены? В ката... здесь у вас? — залопотал Гнус.

— Ну, да куда уж вам заметить... Вчера что красовалось возле зеркала? Справа и слева?

— Ах, да, да — совершенно очевидно... два букета.

— А вы, неблагодарный, не соображаете, что я ради вашего удовольствия швырнула их в печку.

Она обиженно надула губки. Гнус взглянул на печку и зарделся от радости; итак, артистка Фрелих сожгла цветы, поднесенные ей Ломаном. Вдруг страшное волнение овладело им; его осенила мысль возместить артистке Фрелих сожженные цветы и самому поднести ей два букета. Присмотревшись, он установил, что на красной занавеске не обрисовывается ничья голова, и, возбужденный желаньем помериться силами с Ломаном, начал:

— Милейшая фрейлейн, — суммирую, — вчера вечером у вас, вероятно, вновь состоялась встреча с молодыми людьми?

— А зачем вы так рано ушли? И что мне, по-вашему, было делать, раз уж они сюда приперлись? Ну, зато я им выложила всю правду, одному особенно...

– Душевно рад.. а сегодня.. направляясь сюда, вы, вероятно, – как говорится, в свою очередь, – встретили этих троих?

– Подумаешь, какое счастье!

– Милейшая фрейлейн, если отсутствие цветов и шампанского вы воспринимаете как лишение, вы их получите от меня. Недопустимо, чтобы такие предметы дарились вам учениками.

Внезапно обострившееся чутье подсказало взволнованному, красному, как рак, Гнусу, что «дурацкая песня этого олуха», которую актриса Фрелих не желала больше исполнять, и есть песнь о луне, сочиненная Ломаном! Он воскликнул:

– Вам нужно отказаться не только от песни о луне, но и от каких бы то ни было песен гимназиста Ломана.

– А если я восприму это как лишение, вы, что ли, сочините для меня песню?

Для Гнуса такой вывод был несколько неожидан, тем не менее он заявил:

– Посмотрим, что тут можно будет сделать.

– Посмотрите, пожалуйста, да и вообще.. кое-что можно сделать. Только кумекать надо.

Она вытянула губы и приблизила к нему свое лицо. Но Гнус не скумекал. Он посмотрел на нее растерянно и недоверчиво. Она поинтересовалась:

– Скажите на милость, ну зачем вы здесь?

– Гимназисты не смеют.. – начал он.

– Ладно уж.. – Она стала расшнуровываться. – Мне надо надеть что-нибудь покороче. Помогите-ка, вас от этого не убудет.

Гнус повиновался. Толстяки вернулись после своего триумфа, томимые жаждой.

Шампанского оставалось только в одной бутылке, с полбокала, не больше. Киперт предложил свои услуги: он сходит за новой порцией живительной влаги. Гнус с благодарностью принял его предложение. В бокал артистке Фрелих вылили весь остаток, ей надо было спешить на выход. Она покрыла себя славой. Шампанское становилось все слаще, Гнус все счастливей. Артист Киперт, когда наступил его черед, вышел на сцену на руках; его встретили овацией, и он стал всякий раз применять этот способ передвижения. Темперамент артистки Фрелих возрастал от номера к номеру, соответственно возрастал и ее успех. Гнус уже не мог себе представить, как он встанет со стула.

Последние гости разошлись. Артистка Фрелих, вся светясь довольством, заметила:

– Так-то вот мы и живем изо дня в день, старикашечка, а по воскресеньям и того хлеще.

И вдруг разразилась рыданиями. Сквозь пелену хмеля Гнус в изумлении видел, как она уткнулась носом в распростертые на столе руки и как заходила вверх и вниз ее изогнутая диадема.

– Шик-блеск это только сверху, – рыдала она, – а поглубже-то беды-горя не обобратятся..

Она продолжала плакать. Гнус мучительно недоумевал: что бы такое ей сказать? Между тем воротился Киперт, поднял его со стула и вызвался проводить до ворот. Только на пороге Гнуса осенило. Он обернулся, протянул дрожащую руку к артистке Фрелих – она уже успела заснуть – и пообещал:

– Я вас как-нибудь протащу.

Благожелательный учитель мог сказать такую фразу ученику перед окончанием учебного года, мог хотя бы подумать так. Но Гнус еще никому так не говорил и ни о ком так не думал.

Глава седьмая

Часы показывали уже четверть девятого, а Гнуса все не было. Стремясь как можно полнее насладиться нежданной свободой, гимназисты исступленно шумели и вообще неистовствовали. Все выкрикивали одно слово: «Гнус! Гнус!» Одним было известно из достоверных источников, что он умер. Другие клялись и божились, что он запер в чулан свою домоправительницу, уморил ее голодом и теперь сидит в тюрьме.

Ломан, Эрцум и Кизелак в этих разговорах не участвовали.

Вдруг Гнус, откуда ни возьмись, большими шагами прокрался к кафедре и осторожно, точно у него ныли все кости, опустился в кресло. Многие не заметили его

появления и продолжали орать: «Гнус!» Но Гнус, видимо, не стремился «поймать их с поличным». Лицо у него было совсем серое, он терпеливо ждал, пока ему можно будет заговорить, и ответы учеников оценивал так прихотливо, что это уже граничило с ненормальностью. Один мальчик, которого он обычно донимал придирками, в течение десяти минут вместо перевода нес сущую окопесу, а он его не останавливал. Другого злобно оборвал на первом же слове. Эрцума, Кизелака и Ломана он по-прежнему не замечал, но думал только о них. Он задавался вопросом: вчера, на его крестном пути домой, не прятались ли они за углом, когда ему стало так дурно, что он, обеими руками цепляясь за стену дома, едва-едва тащился вперед. Кажется, он даже толкнул их и пробормотал «извините»... Впрочем, ведь его мозг и тогда работал с полной ясностью: он ни на секунду не упускал из виду, что не все виденное и слышанное им в таком состоянии духа должно стать достоянием гласности.

Отчаянный страх мучил его, ибо точно он не знал, так это было или не так. Что известно этим трем отщепенцам?.. И что произошло вчера после того, как он, Гнус, уже не в состоянии был уследить за событиями? Вернулась эта троица в «Голубой ангел»? Чего доброго, Ломан опять забрался в каталажку?.. Актриса Фрелих плакала; не исключено, что к тому времени она уже заснула. И Ломан, возможно, разбудил ее?.. Гнус всем своим существом жаждал заставить Ломана переводить самое трудное место, но трусил.

Ломан, граф Эрцум и Кизелак неустанно наблюдали за ним. Кизелаку во всем этом виделось главным образом смешное, Эрцуму – унижительное, Ломану – жалкое, но все они испытывали одно общее чувство – ужас оттого, что тайный и страшный сговор связывал их с тираном.

На школьном дворе во время перемены Ломан прислонился к теплой от солнца стене, скрестил руки на груди и, как вчера, когда он стоял у закопченной стены увеселительного заведения, вслушивался в себя – беды его слагались в стихи.

Эрцум подошел к нему как бы мимоходом и сдавленным голосом спросил:

– Она лежала на столе и спала? Не может этого быть, Ломан!

– Говорят тебе, что она храпела. Он напоил ее до бесчувствия.

– Подлец! Пусть только еще раз..

Но, спохватившись, что это пустая хвальба, не закончил фразы. Пока тащишь на себе ярмо школы, остается только молча скрежетать зубами. Собственное бессилие внушало ему еще большее отвращение, чем Гнус. Он недостоин Розы..

Кизелак, пользуясь толкотней на школьном дворе, незаметно приблизился к обоим своим сообщникам, скривил рот, заслонив его ладонью, и, трепеща от тайного злорадства, зашептал:

– Помяните мое слово, он засыпется, да еще как!

И уже на ходу осведомился:

– Пойдете туда?

Оба пожали плечами. Что тут спрашивать, ведь это же само собой разумелось.

Для Гнуса посещение артистки Фрелих превратилось в обязанность, которая день ото дня становилась все более радостной. Опасаясь, как бы Ломан не опередил его, он всегда первым заявлялся в «Голубой ангел» и тотчас же принимался за дело.

Приводил в порядок гардероб, разыскивал что почище из пышных юбок и штанишек, а то, что нуждалось в починке, складывал на стул у стены. Артистка Фрелих приходила в последнюю минуту, она уже привыкла полагаться на Гнуса. Он быстро научился кончиками своих серых пальцев развязывать на ней самые тугие узелки, расправлять банты, раскалывать булавки в укромных местечках. Розово-желтые взмахи ее рук, торопливо накладывавших грим, постепенно становились для него все более и более осмысленными. Он уже разбирался в палитре ее лица; усвоив названия и назначения цветных палочек и флакончиков, жирных жестинок и баночек, коробочек и мешочков, все вокруг припорошивавших пудрой, он втихомолку, но ретиво изучал способы их применения. Артистка Фрелих отмечала его успехи. Однажды, сидя перед зеркалом, она вдруг откинулась на спинку стула и сказала:

– А ну, живо!

И он так заgrimировал ее, что сама она уже ни к одной краске не притронулась. Дивясь его сноровке, она пожелала узнать, как это он так быстро приобрел ее. Гнус покраснел и пробурчал что-то невнятное; любопытство ее так и осталось неудовлетворенным.

Он был в восторге от той роли, которую отныне играл в уборной артистки Фрелих. Ломану теперь нечего и надеяться заменить его. Ну, где ему, например, запомнить, что розовое болеро надо снести красильщику? Конечно, если бы Ломан упражнял память старательным заучиваньем стихов Гомера... а так, вот они, плоды лености!.. И Гнус, словно большой черный паук, двигался среди белых юбок и штанишек, разбросанных на полу и по стульям, как щупальцами, хватая их тощими, скрюченными пальцами. Смятые ткани с шуршаньем и шелестом разглаживались под его костлявыми, старческими руками. А некоторые вдруг наглядно воспроизводили тайком сохраненную форму руки или ноги; Гнус смущенно косился на них, бормоча:

— При всем том, однако...

Затем он прокрадывался к двери и в щелку следил за той, чей голос дребезжал и взвизгивал под гром рояля, а руки и ноги выделяли всевозможные антраша в насквозь прокуренном воздухе на потеху дураков, чьи головы, как тюльпаны на грядках, покачивались в такт ее движениям. Он гордился ею, презирал весь этот сброд, ей аплодировавший, исходил ненавистью к нему, если он молчал, и испытывал странно волнующее чувство, слыша, как он ржет от восторга, когда декольтированная актриса Фрелих, кланяясь, щедро награждала его видом своих прелестей... В эти минуты мурашки пробегали по телу Гнуса... Но вот она на крыльях успеха влетала в уборную, и Гнус удостаивался чести слегка припудрить ей шею или накинуть на плечи ротонду.

При этом всегда было очевидно, в каком она настроении. Если она милостиво подставляла ему плечи, значит, ему предстоял приятный часок, если тыкала пуховкой ему прямо в физиономию — хорошего ждать не приходилось. Под пестрой ее одеждой ему открывалось больше, чем ее тело. Он вскоре понял, что осязать и обонять можно не только ткани и пудру, но, пожалуй, и самую душу женщины; и что пудра и ткани почти уже и есть ее душа.

Артистка Фрелих обходилась с ним то нетерпимо, то весьма дружелюбно. При дружелюбном обхождении он терял душевное равновесие. Ему было спокойнее, когда она бранилась... Время от времени она спохватывалась: ведь у нее существовал определенный план обращения с Гнусом, но проведение этого плана в жизнь докучало ей. Вспомнив назидания Гнуса, она становилась скромницей и даже сентиментальной, казалось — юная артистка ласково прикорнула у ног почтенного профессора; что поделаешь, приходится напускать на себя такой вид, если хочешь чего-нибудь добиться от серьезного человека...

И тут же — это приносило Гнусу немалое облегчение, хотя он сам не знал почему, — сбрасывала его со стула, как ворох нижних юбок.

Как-то раз она даже отвесила ему оплеуху. Потом быстро отдернула руку, пристально на нее посмотрела, понюхала и удивилась:

— Да у вас все лицо в жиру!

Он зарделся, а она расхохоталась:

— Он красится! Ей-богу, лопнуть можно! Вот почему он так живо наловчился меня гримировать. Потихоньку тренировался на своей физиономии. Ах ты гнус!

Ужас изобразился на его лице.

— Да, да, гнус! — Она прыгала вокруг него.

И он улыбнулся счастливой улыбкой... Она знала его прозвище, знала от Ломана и других гимназистов, верно, с самого начала их знакомства; он был потрясен, но потрясен радостно. На мгновение он заподозрил недоброе и слегка устыдился — как же это он радуется, что артистка Фрелих назвала его этим мерзким именем? И тем не менее он был счастлив. Увы, долго размышлять ему не пришлось: она послала его за пивом.

Гнус не ограничился тем, что заказал пиво; он велел хозяину, несшему кружки, идти впереди него через зал, сам же, прикрывая транспорт с тыла, тем самым предотвращал возможность расхищения его по пути. Как-то раз владелец «Голубого

ангела» предложил Гнусу самому отнести пиво. Но величавое достоинство, с каким тот отклонил предложение, навек отбило у трактирщика охоту повторять его. Прежде чем выпить, артистка Фрелих подняла кружку.

— Ваше здоровье, Гнус. — И, помолчав, добавила: — Смешно, что я называю вас Гнусом? Ну, конечно, смешно. Что мы друг другу? Да и давно ли мы знакомы? Чего только не делает привычка... Послушайте-ка, что я вам скажу! Вот, например, Киперт с женой, да пропади они пропадом — я и слезинки не пророню. А вы — дело другое... Взгляд ее мало-помалу сделался задумчивым и неподвижным. Погруженная в свои мысли, она спросила:

— Но что все это значит? Вы-то чего хотите?

Глава восьмая

Гнус никогда об этом не думал и поздно вечером, уходя от артистки Фрелих, тревожился только одним — неизвестностью относительно Кизелака, фон Эрцума и Ломана. Страх перед их тайными интригами заставил его пуститься на крайность и позабыть о границах возможного. В переулке возле «Голубого ангела» он как-то раз услышал их шаги за своей спиной. Стараясь ступать как можно легче, чтобы они не заметили, когда он остановится, он спрятался за углом и, склонив голову набок, внезапно вышел прямо на них. Они отпрянули, но Гнус ободряюще, хотя и с ядовито поблескивающим взглядом, заговорил:

— Опять, — как говорится, в свою очередь, — решили насладиться искусством? Правильно. Пойдемте-ка и еще раз повторим все пройденное вами; у меня таким образом явится возможность узнать, сколь значительно вы преуспели в данной области.

И, так как все трое замерли на месте, явно страшась этой интимности с тираном, добавил:

— Мое приобретенное таким образом мнение о вашем общем развитии может в известной мере — я бы сказал — повлиять на отметки следующего семестра. Он потянул Ломана за руку, а двум другим велел идти впереди. Ломан нехотя поплелся с ним рядом; но Гнус немедленно заговорил про его песнь о луне.

— Твоя любовь на берегу морском

Оплакивает свой печальный жребий... —

продекламировал он. — Любовь, как понятие абстрактное, плакать, разумеется, не может. Но поскольку вы в этом понятии персонифицируете ваше душевное состояние и поскольку вся поэтическая субстанция отделяется от вас, чтобы лить слезы на берегу выдуманного вами моря, пусть будет так. В качестве наставника я лишь позволю себе присовокупить, что упомянутое душевное состояние отнюдь не пристало ученику шестого класса, да еще ученику с весьма туманными перспективами относительно перевода в следующий класс.

Ломан, испуганный и оскорбленный тем, что Гнус своими иссохшими пальцами выхватил кусок его души, поспешил сказать:

— Все это, господин учитель, от начала и до конца поэтическая вольность. Ничего не значащий пустяк, l'art pour l'art, [6] если вам известно такое выражение {16}. Душа тут совершенно ни при чем.

— Пусть так, — отвечал Гнус. — Впечатление, которое ваши стихи произвели на публику, является — суммирую — исключительно заслугой талантливой актрисы.

Упоминание об артистке Фрелих пробудило в нем чувство гордости; чтобы не дать ему вырваться наружу, он даже задержал дыханье и поспешил перевести разговор. Попрекнув Ломана склонностью к романтической поэзии, он потребовал от него более усердного изучения Гомера. Ломан утверждал, что немногие подлинно поэтические места у Гомера давно превзойдены. Собака, издыхающая при возвращении Одиссея, ничего не стоит по сравнению с собакой в «Радости жизни» Эмиля Золя {17}.

— Если вы слышали о таком произведении, господин учитель, — добавил он. В конце концов разговор перекинулся на памятник Гейне {18}, и Гнус, чтобы отомстить Ломану, повелительно крикнул в ночь:

— Нет! Никогда!

Они подошли к городским воротам. Гнусу надо было свернуть в сторону. Но он этого не сделал и, очутившись на темной лужайке, велел приблизиться Кизелаку.

— А вы догоните-ка своего дружка Эрцума, — сказал он Ломану. В настоящий момент его более всего тревожил Кизелак. Семейные обстоятельства этого гимназиста наводили его на подозрения. Отец Кизелака, портовый чиновник, обычно работал по ночам. Кизелак говорил, что живет у бабушки. Гнус опасался, что дряхлая старуха вряд ли способна ограничить ночные похождения внука. А ворота «Голубого ангела» еще долго будут стоять открытыми.

Кизелак, учуяв, что волнует Гнуса, поспешил заверить:

— Бабушка бьет меня.

Фон Эрцум, с которого Гнус не спускал бдительного взгляда, опустил судорожно сжатые кулаки и тихо сказал Ломану:

— Не советую ему заходить так далеко. Всему на свете бывает конец.

— Надеюсь, что конца еще не предвидится, — отвечал Ломан. — Эта история нравится мне все меньше и меньше.

Эрцум не унимался:

— Слушай, Ломан, что я тебе скажу... Мы здесь, можно сказать, одни, до дома вдовы Блос не будет ни фонаря, ни полицейского. Сейчас я обернусь и стукну этого типа, — надеюсь, вы не станете меня удерживать... Такая, такая женщина в лапах у этого негодяя, у этого спрута! Ее чистота... Сейчас я ему покажу!

Запальчивость фон Эрцума возрастала оттого, что Ломан не разделял ее. Но сегодня он не стыдился своих угроз, ибо чувствовал себя способным привести их в исполнение.

Ломан медлил с ответом.

— Если ты его убьешь, это, конечно, будет грандиозное событие, тут спорить не приходится, — устало проговорил он. — Все увидят, что кто-то наконец решился на смелый жест — распахнул двери; а то ведь наш брат только и знает, что стоять в страхе: вдруг дверь откроют изнутри и стукнут его по лбу.

Ломан замолчал, напряженно дожидаясь, что Эрцум скажет ему в лицо: ты любишь Дору Бретпот. Мысленно он уже брался за ружье, которое лежало наготове для этого случая... Но его признание растаяло в воздухе.

— Другой вопрос, — Ломан скривил губы, — сделаешь ли ты это... Ты ведь тоже из тех, что ничего не делают.

Фон Эрцум рванулся назад. Ломан ясно увидел — фонарь вдовы Блос был теперь уже близко, — что в глазах друга мелькнуло безумие. Он схватил его за плечо.

— Без глупостей, Эрцум! — И принял равнодушный вид. — Это же немыслимое дело, к подобным вещам не относятся серьезно. Ты только взгляни на этого человека. Таких не убивают. При встрече с ним можно разве что пожать плечами. Неужто ты хочешь, чтобы тебя пропечатали в газетах рядом со стариком Гнусом? Конфузное соседство! Горестная злоба Эрцума мало-помалу улеглась. Ломан слегка презирал его за то, что он вновь стал безопасен.

— Вдобавок ко всему, — заметил он, — ты мог бы предпринять нечто куда более благоразумное, но ты медлишь. Просил ты денег у Бретпота?

— Н-нет!

— Так я и знал. А ты ведь собирался объявить опекуну о своей страсти и о том, что лучше пойти в солдаты, чем видеть свою возлюбленную гибнущей в лапах такого мерзавца. Ты хотел добиться свободы ради нее, да, да, всего этого ты хотел.

Эрцум пробормотал:

— А много ли проку от моего хотенья?

— Что ты имеешь в виду?

— То, что денег он мне все равно не даст. А скрутит меня так, что я и видеться с Розой не смогу.

Подобный образ действий опекуна Ломану тоже показался весьма вероятным.

— Я могу тебе одолжить триста марок, — небрежно добавил он, — если ты хочешь бежать с нею...

Эрцум процедил сквозь зубы:

— Покорно благодарю.

— Нет так нет. — И Ломан засмеялся тихо и горестно. — Впрочем, ты прав. Прежде чем сделать женщину графиней, надо хорошенько поразмыслить. А на другие условия она не пойдет.

— Да я и сам не хочу по-другому, — надломленным голосом отвечал Эрцум. — А она вообще не хочет... Ах, ты ничего не знаешь. Никто не знает, что с воскресенья я пропащий человек. И просто смешно, что вы разговариваете со мной, как с прежним Эрцумом, да и сам я себя веду, как будто ничего не случилось.

Они пошли молча. Ломан был расстроен; он чувствовал, что страсти его к Доре Бретпот нанесено оскорбление; теперь и Эрцум переживает трагедию из-за этой дурехи Фрелих. Оскорбительное сходство!

— Итак? — хмуро спросил он.

— Ах да! В воскресенье, когда мы отправились к кургану, ты, я, Кизелак и... Роза... я так радовался, что она со мной, и в кои-то веки без Гнуса. Я был совершенно уверен в удаче.

— Правильно. Ты поначалу был в отличном настроении и даже по мере своих скромных сил раскапывал курган гуннов{19}.

— Да, да... Как вспомню, так прямо... курган я раскапывал до того, еще совсем другим человеком... После завтрака мы с Розой остались, можно сказать, одни в лесу; ты и Кизелак уснули. Я было набрался храбрости, но в последнюю минуту струсил. Хотя она ведь всегда хорошо со мной обходилась, не то что с тобой, правда?... И, казалось, только и ждет, чтобы я объяснился. Я захватил с собой все деньги, которые у меня были, и думал, что мы с ней вообще уже не вернемся в город, а прямо из лесу удерем на станцию. — Он умолк.

Ломан подтолкнул его локтем:

— Она что, недостаточно тебя любит, да?

— Она сказала, что еще слишком мало меня знает. Или это, по-твоему, была просто отговорка?... Кроме того, она испугалась, что нас поймают и ее упрячут в каталажку за соращение несовершеннолетнего.

Ломан изо всех сил боролся с душившим его смехом.

— Такое благоразумие, — давясь, проговорил он, — не свидетельствует об очень уж сильном чувстве. Во всяком случае, ее любви далеко до твоей. Тебе тоже следовало бы поразмыслить, не взять ли назад хоть часть того сердечного пыла, который ты вложил в это предприятие... Не кажется ли тебе после вашего объяснения у кургана, что не стоит жертвовать ей всем своим будущим?

— Нет, мне это не кажется, — серьезно отвечал Эрцум.

— В таком случае, ничего не поделаешь, — решил Ломан.

Они подошли к дому пастора Теландера. Эрцум вскарабкался по столбу на балкон.

Гнус, стоя между Кизелаком и Ломаном, смотрел ему вслед. Когда Эрцум влез в окно своей комнаты, Гнус задумчиво пошел назад. Его преследовала мысль, что фон Эрцум, если захочет, может снова спуститься... Но особенно он фон Эрцума не опасался и презирал его за простоту.

Он проводил обоих гимназистов обратно в город и сдал Кизелака с рук на руки бабушке.

Затем он дошел с Ломаном до дома его родителей, прислушался к стуку ворот, что захлопнулись за ним, посмотрел на осветившееся верхнее окно, протомился несколько минут, пока оно снова не стало темным, и на всякий случай подождал еще немного. Все было спокойно.

Тогда Гнус наконец собрался с духом и зашагал восвояси.

Глава девятая

Гнус неумолимо отгонял всех любопытных от дверей артистической уборной.

Иностранные матросы думали, что он актерский «вербовщик». Другие, считавшие, что он не похож на антрепренера, принимали его за отца актрисы Фрелих. Впрочем, среди гостей попадались и местные жители, которые знали его, те только робко ухмылялись.

Поначалу его высмеивали все кому не лень. Но Гнус, высокомерный и презрительный, не замечал насмешек. Здесь он был на голову выше их всех. И вскоре они это почувствовали. Куда уж им до него: они сидели здесь за свои гроши, а Гнус с

видом причастного таинству распахивал дверь перед артисткой Фрелих, которая всем им казалась крайне соблазнительной. Они поневоле проникались почтением к Гнусу, и их попытки высмеять его становились день ото дня более робкими. Зато они всласть шушукались на его счет в задних комнатах оптовых контор. Оттуда-то и просочились в город слухи о странном образе жизни Гнуса. Им не сразу поверили. Ученики старика Гнуса сегодня утверждали, что он запер в чулан свою домоправительницу, завтра что-нибудь еще. В городе к этому уже привыкли и только посмеивались.

Но однажды молодой учитель под конвоем старейшего из преподавателей, полуглухого старца, посетил «Голубой ангел», и оба они убедились в справедливости этих слухов. На следующее утро глухой старец, обращаясь к Гнусу, произнес в учительской проникновенную речь о достоинстве воспитателя юношества. Молодой учитель скептически улыбался. Другие старались не смотреть на Гнуса или пожимали плечами. Гнус испугался: это было дерзновенное покушение на полноту его власти. Подбородок его затрясся, он с трудом проговорил:

— Это, это — несомненно и безусловно — вас не касается.

Уходя, он еще раз обернулся:

— Мое достоинство — суммирую — мое личное дело.

Он усиленно зашмыгал носом и вышел, весь дрожа. С полдороги его стало неудержимо тянуть обратно. И потом он весь день страдал оттого, что высказался недостаточно ясно. Надо было прямо заявить, что актриса Фрелих достойнее всех учителей, вместе взятых, лучше глухого профессора и нравственно выше директора. Она — единственная вместе с Гнусом возвышается над всем нечестивым человечеством, дерзающим оскорблять ее и даже сомневаться в нем.

Но мысли его шли еще слишком извилистыми, непроторенными путями, слишком были глухи и неясны, чтобы открыть их людям. Они подспудно терзали его; в тиши кабинета на него находили приступы ярости, тогда он сжимал кулаки и скрежетал зубами. А в воскресенье Гнус отправился с артистом Кипертом на выборы в штаб-квартиру социал-демократов возле Овощного рынка. Это решение было принято внезапно. Он сделал открытие — могущество касты, представителем которой был Ломан, «долженствует быть уничтожено». До сих пор он на все уговоры артиста отвечал лишь насмешливо-высокомерной усмешкой: усмешкой просвещенного деспота, который стоит за церковь, меч, невежество и косность, но о причинах, его к тому побуждающих, предпочитает умалчивать.

И вот сегодня он вдруг решил сокрушить все устои, на стороне черни восстать против кичливой знати и распахнуть перед народом двери дворца, дабы во всеобщей анархии потонули отдельные мятежники. От народного духа, дымным облаком нависшего над помещением избирательного участка, у Гнуса сперло дыхание, в нем проснулась неистовая жажда разрушения. Стуча согнутыми пальцами по столу, заставленному пивными кружками, он вопил:

— Следовательно! Я не намерен впредь все это выносить!..

Но это был хмельной порыв, на следующий день он в нем раскаивался. Вдобавок он узнал, что в то время, когда он занимался переворотом, актриса Фрелих куда-то исчезла из города. Цепенея от страха, он подумал о Ломане.

Ломана сегодня не было в классе! Какие безобразия творил он в это время? Стоило Гнусу отвернуться, как он уж был подле актрисы Фрелих. Ясно, он убежал к ней. Прячется в ее комнате. Гнус рвался увидеть эту комнату, обшарить, обыскать ее... Все эти дни его трясло от злобных подозрений. В гимназии он беспощадно крушил карьеры шестиклассников. В артистической уборной поносил толстуху за пагубное влияние на актрису Фрелих. Она снисходительно похихатывала. Сама актриса Фрелих оправдывалась:

— Как бы не так, поеду я за город с вашими сопляками, да лучше мне на месте околоть, чем с ними канителиться.

Он в ужасе на нее уставился. Затем, в неодолимом стремлении оправдать ее, уверовать в ее невинность, снова накинулся на толстуху:

— Извольте дать мне отчет! Что вы сделали с вверенной вашему попечению артисткой Фрелих?

Та невозмутимо отвечала:

— Да вы просто смешны. — Она пошла к двери, но на пороге обернулась: — С вами никто сыт не будет. — И, уже уходя, добавила: — А уж об удовольствии и говорить нечего.

Гнус побагровел. Артистка Фрелих хохотала.

— Ему просто на ум не приходит, — пояснила она, хотя они с Гнусом остались вдвоем. Больше она ни слова не промолвила...

Но стоило только войти толстякам, как Гнус немедленно начинал задира́ть их. Он уже давно сурово обходился с ними. Чем значительнее становилась в его представлении актриса Фрелих, чем ретивее он защищал ее против всего человечества, тем меньше места оставалось на стульях уборной для юбок толстухи и трико ее супруга. Он не прощал им успеха, которым они пользовались, и шумливой веселости.

Однажды после акробатического номера он выгнал Киперта из уборной, потому что тот сильно потел, а потеть в присутствии такой дамы, как артистка Фрелих, не полагалось. Киперт ушел вперевалочку, добродушно заметив:

— Она не из масла, к ней запах не пристанет.

Жена его хоть немножко и обиделась, но фыркнула и подтолкнула Гнуса локтем. Гнус отряхнул рукав. Она разобиделась уже всерьез.

Артистка Фрелих хихикала, глядя на эту сцену. Она не могла не чувствовать себя польщенной. Толстяки давно уже досаждали ей успехом своей матросской песенки.

Гнус без устали твердил ей, что только она — настоящая актриса. Простодушный интриган, он разжигал в ней зависть, завлекал ее в свои сети, приучая свысока относиться ко всему человечеству и искать опоры только в нем одном — неизменно верном рыцаре. Он требовал от нее глубочайшего презрения к публике в целом, успеха у которой она так настойчиво добивалась, и к каждому отдельному зрителю, которому она пришлось по вкусу. Толстуху он ненавидел главным образом за то, что она приносила из зала вести о впечатлении, произведенном актрисой Фрелих.

— Как! Как это возможно! — восклицал он. — Этот Мейер осмеливается рассуждать, когда сам в девятнадцать лет еще не окончил гимназии и вынужден был поступить на военную службу рядовым! {20}

Артистка Фрелих улыбкой маскировала свое смущение — рядовой Мейер ей очень нравился. Она бы и рада была, чтобы он ей не нравился. Переимчивая от природы, она, кроме того, чувствовала себя польщенной, что такой ученый человек, как Гнус, ее воспитывает. До сих пор никто ее воспитанием не занимался. Толстуху, пытавшуюся замолвить словечко за Мейера, она резко оборвала.

Случалось, что она тыкала Гнусу в нос цветы и говорила:

— Вот эта роза с червоточинкой от того толстяка, что сидит возле рояля.

— Деточка, — вмешивалась толстуха, — это ведь хозяин табачной лавки на рынке, мужчина что надо, и лавка у него первый сорт, Киперт там постоянный покупатель.

— Ну, а что скажет Гнусик? — осведомлялась артистка Фрелих.

Гнус заверял, что хозяин лавки всегда был одним из худших учеников и как коммерсант тоже не дорого стоит; ни разу он не прислал счета, где бы не была переправлена первая буква его, Гнуса, фамилии. Толстуха замечала, что это еще ровно ничего не доказывает. Гнус врал, что в деловом мире табачник считается ненадежным. Артистка Фрелих, видя, что он рвет и мечет, виляла бедрами и нюхала розу с червоточинкой.

— Вы только и знаете, что чернить всех и каждого, — говорила толстуха. — А какой вам от этого прок, скажите на милость? — И, так как Гнус молчал, продолжала: — Сами-то вы чем уж так хороши, может, объясните нам, а?

— Да, он все никак не скумекает. — Артистка Фрелих хлопнула себя по колену, а Гнус залился краской.

— Ну и пусть себе умничает в одиночку, — решила толстуха, — а ты уж займись кем-нибудь попроще, дураки тоже чего-нибудь да стоят, нет-нет да кой о чем и догадаются. Ты меня понимаешь, Розочка. И знаешь, почему я тебе даю такие советы? Я тоже не могу столько времени дожидаться.

И она ушла вместе с Кипертом петь матросскую песенку. Артистка Фрелих вконец расстроилась.

— Ей-богу, от нее сдохнуть можно! — Она сжала руки и, несколько успокоившись, добавила: — Все нервы мне истрепала. — И вдруг с отчаянием: — А у вас сочувствия ни на грош.

И Гнус вдруг ощутил неприметно и ежедневно растущее бремя вины и полное свое бессилие от него избавиться.

Покуда из зала доносилась матросская песенка, актриса Фрелих, стелая, металась по комнате.

— Нет, терпенье мое лопнуло... давно я сулилась напакостить толстякам. Верно ведь? А вот теперь возьму и напакую!

И едва только чета Кипертов окончила песенку героических немецких матросов, как она стремглав выскочила на сцену и завизжала в уши еще потрясенных патристическим восторгом зрителей:

Мой муж — бывалый капитан.

Когда домой назад

Вернется он из дальних стран,

Он мне надраит...

Сначала все замерли; потом возмущенно зашумели и, наконец, обрадовались столь резкому контрасту.

Рискованная выходка удалась актрисе Фрелих, и она вернулась сияющая.

На этот раз толстуха обиделась уже не на шутку.

— Мы оба из кожи вон лезем, чтобы показать людям высокое искусство, а вы вдруг поганите самое наше святое. Подлость, и больше ничего!

Гнус, вкуне с актрисой Фрелих, это отрицал. Он утверждал, что в искусстве правомочно любое направление; искусство создается руками великих мастеров, а святая святых искусства — это талант актрисы Фрелих. Она дополнила его умозаключение несколькими словами, обращенными к толстухе:

— Мне, если хотите знать, вообще на вас...

Тут вошел Киперт, пропуская впереди себя коренастого человека с рыжей морской бородкой вкруг красного мясистого лица. Последний, высоко вздернув брови, заговорил:

— Ай да барышня, черт подери, настоящий постреленок. Хо-хо! «Он мне надраит...» Я ведь тоже капитан, и если вам угодно распить со мной бутылочку...

Гнус не утерпел и вмешался:

— Артистка Фрелих — понятно и самоочевидно — ни с кем не пьет! Вы ошиблись, друг мой! И к тому же не учли, что эта катала... эта артистическая уборная носит сугубо приватный характер.

— Вы что, господин хороший, смеетесь, что ли? — И капитан еще выше вздернул брови.

— Отнюдь нет, — возразил Гнус. — Я только даю вам понять, что вы должны отсюда удалиться.

Это было уже слишком. Супруги Киперт не выдержали.

— Господин профессор, — зашумел уязвленный артист, — если я привожу друга, с которым только что выпил на брудершафт, то это мое и только мое дело.

Тут прорвало и его жену:

— Да на черта он нам сдался! Никому гроша не дает заработать, торчит здесь с утра до ночи, вонючка этакая, и еще людей вон выгоняет. Роза, идите-ка с капитаном!

Гнус пожелтел и задрожал.

— Артистка Фрелих, — крикнул он замогильным голосом и взглянул на нее окосевшим от страха взглядом, — не из тех, что пьют ваше пиво, друг мой!

Его взгляд буравил ее; она вздохнула.

— Идите-ка лучше подобру-поздорову, — сказала она. — Тут ничего не поделаешь!

Торжествующий Гнус — на щеках у него выступили красные пятна — подскочил к капитану.

— Вы слышите? Она сама вам это сказала. Артистка Фрелих удаляет вас из клас... Повинуйтесь! И так, вперед, начали!

Он уже вцепился в капитана, закогтил его, потащил к двери. Дюжий капитан не противился исступленному натиску. Он только встряхнулся, когда Гнус его отпустил. Но это произошло уже по ту сторону двери, с силой захлопнувшейся перед его изумленной физиономией.

Артист что было мочи стукнул кулаком по столу.

— Старый хрыч, да вы, верно...

— А вы, мой друг...

Распаленный Гнус двинулся на него. Киперт струсил.

— Заметьте себе... суммирую... поскольку артистка Фрелих пользуется, так сказать, моим покровительством, я не потерплю, чтобы ей наносились оскорбления, так же как не потерплю подрыва своего авторитета. Рекомендую почаще повторять это себе, а также записать для памяти.

Артист что-то проворчал, но он был явно укрощен и незаметно скрылся. Артистка Фрелих во все глаза смотрела на Гнуса и вдруг расхохоталась; мало-помалу смех ее сделался тихим, ласковым и ехидным, казалось — она раздумывает о Гнусе и о себе самой: почему она гордится человеком, который смешон в ее глазах?

Толстуха справилась со своим гневом и дотронулась до плеча Гнуса:

— Послушайте-ка, старина!

Гнус, отойдя в сторонку, вытирал лоб; он уже смягчился. Ужас тирана, на мятеж ответствующего безрассудной яростью, и на этот раз сломил его.

— Вот, значит, в дверь входит Киперт, а вот Роза, вот тут вы, а здесь я... —

Проникновенным голосом она воссоздавала перед ним картину действительности. — А кроме нас, был тут еще и капитан, которого вы выставили. Он вернулся из Финляндии, и дела у него идут что надо, потому что его судно потонуло, а оно было застраховано... Вы небось судна не страховали? Ну, да это не обязательно. Зато у вас разные там духовные дары. Вам надо их показать, вот и все... Розе, к примеру. Понятно? Капитан — малый видный, денежный и девчонке по душе...

Гнус в растерянности поглядел на артистку Фрелих.

— Ничего подобного, — крикнула она.

— Да вы же сами говорили.

— Господи, вот врет-то!

— Может, вы еще скажете, что ученик господина профессора, черный такой, кудрявый, не сделал вам предложения честь по чести?

Гнус взвился. Артистка Фрелих его успокоила.

— Да она со злости все перепутала. Взять меня за себя хочет только рыжий, который похож на пьяную луну. Он граф, но мне от этого толку чуть, я до него не охотница.

Она улыбнулась Гнусу ласково, по-детски.

— Ладно, пусть я вру, — согласилась толстуха. — А что вы мне должны двести семьдесят марок — это тоже вранье, Розочка? А? Видите ли, господин профессор, я в другое время лучше бы себе язык откусила, чем при вас ей про долг поминать. Ну да ведь своя рубашка, как говорится, ближе к телу. А раз уж вы всех отсюда вышибаете, господин профессор, надо бы вам быть потороватее. Бог с ними, с деньгами, я об них не говорю, но ведь такой молоденькой девчонке хочется любви, да и как не хотеть. А у вас... ничего такого не заметно, это вам, видно, и на ум нейдет. И я уж не знаю, что тут — смеяться или плакать.

Артистка Фрелих крикнула:

— Если я сама молчу, так вам уж и подавно нечего соваться, госпожа Киперт.

Толстуха пропустила ее слова мимо ушей. Гордясь своим заступничеством за благоприличие и нравственные устои, она с высоко поднятой головой вышла из комнаты.

Артистка Фрелих пожалала плечами:

— Она женщина необразованная, но, в общем, не злая. Ну, да бог с ней, а то вы еще, чего доброго, подумаете, что мы на пару работаем и стараемся завлечь вас.

Гнус поднял глаза. Нет, такое предположение ему в голову не приходило.

– И вообще я ни с кем на пару не работаю..

Глядя на него снизу вверх, она рассмеялась насмешливо и нерешительно.

– Даже с вами.. – И помолчав: – Ведь правда?

Ей пришлось несколько раз повторить свой вопрос. Гнус не замечал мостика, который она ему перекинула. Только ее настроение сообщилось ему, и его бросило в жар.

– Пусть так, – сказал он и протянул к артистке Фрелих трясущиеся руки. Она вложила в них свои. Ее пальчики, грязноватые и засаленные, легко скользнули в его костлявые пальцы. Ее пестрое лицо, волосы, искусственные цветы, словно размалеванное колесо, замелькали перед его глазами. Он совладал с собой.

– Вы не должны брать взаймы у этой женщины. Я решил..

Он проглотил слюну. Страшная мысль пронеслась у него в голове: а что, если гимназист Ломан опередил его в этом решении, – гимназист Ломан, отсутствовавший сегодня в классе и, возможно, прятавшийся в комнате артистки Фрелих?

– Я возьму на себя – безусловно и несомненно – оплату вашей комнаты.

– Не стоит об этом говорить, – тихонько отвечала она. – Есть кое-что поважнее. Да и комната у меня недорогая..

Пауза.

– Она здесь, наверху.. Хорошая комнатка.. Может, хотите взглянуть?

Она потупилась со смущенным видом – как положено девушке, когда ей делает предложение серьезный человек. И удивилась: ни малейшего желания смеяться, и сердце бьется чуть-чуть взволнованно и торжественно.

Артистка Фрелих подняла на него потемневшие глаза и сказала:

– Идите-ка вперед. Не хочу, чтоб эти обезьяны в зале нас сразу заметили.

Глава десятая

Кизелак открыл дверь в зал, сунул в рот свою посинелую пятерню и негромко свистнул. Из зала тотчас же появились Эрцум и Ломан.

– Спешу, друг! – крикнул Кизелак каждому в отдельности и, жестами приглашая их следовать за собой, вприпрыжку направился к лестнице. – Наконец-то!

– Что наконец-то? – равнодушно спросил Ломан, хотя отлично понял, о чем идет речь, и был очень заинтересован этим.

– Они уже наверху, – гримасничая, прошептал Кизелак. Он снял башмаки и стал подниматься по деревянной пологой лестнице с желтыми перилами, которая все равно скрипела. На втором этаже была дверь. Кизелак знал ее. Он прильнул к замочной скважине. Через несколько секунд, не отрываясь от скважины, он молча и энергично закивал головой.

Ломан пожал плечами и остался стоять на первой ступеньке рядом с Эрцумом, который, разинув рот, смотрел наверх.

– Ну, как ты? – с проникновенным и сочувственным видом спросил Ломан.

– Клянусь богом, я ничего не понимаю, – отвечал Эрцум. – Не думаешь ли ты, что там что-нибудь такое происходит? Кизелак паясничает, по обыкновению.

– Ну, конечно, – из сострадания подтвердил Ломан.

Кизелак все яростнее кивал головой и беззвучно хихикал в замочную скважину.

– Ведь она же знает, что я могу убить этого типа.

– Ты опять за свое?.. А ей, может, так еще интереснее..

Фон Эрцум ничего не понимал. Представление о любви раз и навсегда было заложено в него скотницей, которая три года назад у них в имении повалила его на сено после победы, одержанной им в схватке с ражим пастухом.. А тут.. кособокий мозгляк; не думает же она, что я его боюсь? – спросил он Ломана.

– Не думает же она, что я его боюсь? – спросил он Ломана.

– А ты не боишься? – в свою очередь, спросил Ломан.

– Сейчас увидишь!

И Эрцум, вне себя от волнения, в два прыжка перескочил через шесть ступенек.

Кизелак, оторвавшись от замочной скважины, на цыпочках исполнял победный танец. Вдруг он замер.

– Мать честная! – прошептал он, и глаза сверкнули на его бледном, одутловатом лице. Эрцум стал красен как рак и закашлялся. Взгляды их встретились и вступили

в борьбу. Взгляд Эрцума настаивал: этого не может быть. Во взгляде Кизелака сквозила насмешка, левое веко у него слегка подергивалось... И вдруг Эрцум мертвенно побледнел, согнулся в три погибели, словно получив удар в живот, и застонал от боли. Шатаясь, он спустился вниз. Ломан стоял там со скрещенными на груди руками, вокруг рта у него залегли скорбные складки. Эрцум как мешок осел на последней ступеньке и обхватил голову руками. Молчанье. Потом глухой голос: – Ломан, скажи, в твоей голове это укладывается? Женщина, которую я ставил так высоко! Мне все кажется, что этот паршивец Кизелак валяет дурака. Тогда... да простит ему бог. Женщина с такой душой!

– Душа не участвует в том, чем она сейчас занимается. Чисто женская особенность! Ломан свирепо усмехнулся. Этими словами он втапывал в грязь Дору Бретпот, ставил ее на одну доску с этой Фрелих – Дору Бретпот, лучшую из женщин. Какое наслаждение!

– А Кизелак опять подглядывает...

Эрцум сидел, отвернувшись, но Ломан держал его в курсе происходящего.

– Кизелак опять закивал, да еще как... Этот Гнус... Может, пойдём, Эрцум, а?

Он силой поднял друга и потащил его к воротам. Но на улице Эрцум уперся – и ни с места; отупелый, отяжелевший, он приник к обители своей горести. Ломан на все лады уговаривал его, грозил уйти; но тут появился Кизелак.

– Вот чудачки-то! Почему вы не входите? Гнус с новобрачной уже там. Я рассказал в зале, откуда они явились, ну им и устроили встречу! Ребята, это же немыслимая штука: сидят себе в каталажке, как два голубка. Я чуть со смеху не умер! Пошли, заявимся туда все трое.

– Да ты, верно... – начал Ломан.

Но Кизелак и не думал шутить.

– Неужто вы Гнуса испугались? – возмутился он. – Он сам до того увяз, что нам уже не страшен. Скорее мы с него семь шкур сдерем.

– Меня эта перспектива не увлекает. Жалко руки марать, – заметил Ломан.

Кизелак взмолился:

– Не будь же рохлей. Ты просто трусишь.

Спор решил Эрцум:

– Пошли! В каталажку!

Нестерпимое любопытство обуяло его. Он хотел лицом к лицу встретить эту женщину, упавшую с такой высоты! Хотел с бесконечным презрением взглянуть на нее, на ее злополучного соблазнителя и узнать, выдержит ли она его взгляд.

Ломан заметил:

– Это пошлость.

Но отправился с ними.

В уборной их встретил звон бокалов. Хозяин заведения откупоривал уже вторую бутылку шампанского. Сияющие супруги Киперт чокались с Гнусом и артисткой Фрелих; «молодые» торжественно восседали рядом.

Гимназисты сначала обошли вокруг стола. Потом встали навтыжку перед Гнусом и его дамой и хором пожелали доброго вечера. На их приветствие ответили только супруги Киперт. Затем Эрцум, уже в одиночку, грубым голосом повторил приветствие. Роза Фрелих удивленно взглянула на него и, нимало не сконфузясь, прощепетала не известным ему, воркующим голоском:

– А, вот и вы! Посмотрите, душанчик, вот и они. Садитесь же и выпейте с нами.

Затем ее взгляд скользнул по Эрцуму до того равнодушно, что бедняга вздрогнул.

Гнус милостиво поднял руку.

– При всем том... садитесь и выпейте по бокальчику, сегодня вы мои гости.

Он покосился на Ломана, который уже сидел и свертывал себе папиросу... Ломан, отъявленный нахал, чья элегантность унижала плохо оплачиваемого учителя; Ломан, имевший наглость не называть Гнуса его прозвищем; Ломан, не серый, забитый школяр, не дурашливый малый, но человек, который своими независимыми манерами, своим жалостливым любопытством к зловным выходкам учителя подвергал сомнению власть тирана. Этот Ломан к своим посторонним занятиям тщился присоединить еще и

актрису Фрелих. Но здесь его злонамеренность разбилась о железную волю Гнуса. Не сидеть ему в каталажке с актрисой Фрелих, — Гнус поклялся в этом. Не обладать ему актрисой Фрелих — так оно и вышло. И мало того, что Ломан не сидел с артисткой Фрелих, с нею сидел он, Гнус... Это уже превысило первоначальный замысел Гнуса. Он сам был удивлен и вдруг ощутил жгучую радость. Из-под носа у этого самого Ломана и обоих его приятелей, из-под носа у беглых учеников там, в зале, и у пятидесяти тысяч строптивых школьников, составлявших население города, вырвал он артистку Фрелих и теперь один царил и правил в каталажке.

Гимназисты нашли, что он очень помолодел. В его съехавшем на сторону галстукке, в полурасстегнутом мундире и всклокоченной шевелюре было что-то беспутно-победоносное, непристойно-хмельное, пропащее.

Роза Фрелих, навалившаяся на стол, чтобы поплотнее прижаться к нему, выглядела разомлевшей, усталой, ребячески умильной. Вид ее был живым укором для любого непричастного мужчины, ибо он свидетельствовал о решительном и несомненном торжестве Гнуса.

Все трое отметили это про себя; Кизелак от обиды и горечи даже принялся грызть ногти. Киперт, менее досконально во всем разобравшийся, глушил свою досаду не в меру громкими «ваше здоровье!». Толстуха непрестанно восхищалась счастливой переменой в делах Розы и праздником всеобщего примирения.

— А ученики-то ваши, господин профессор, тоже ведь радуются. И как же они к вам привязаны, просто на удивленье!

— Все же, конечно и безусловно, — отвечал Гнус. — Кажется, они и в самом деле не вовсе лишены чувства прекрасного и возвышенного. — И насмешливо осклабился. — Ну-с, Кизелак, итак, в свою очередь, вы тоже здесь? Меня несколько удивляет, что бдительность бабушки не воспрепятствовала вашему уходу из дома... У этого молодого человека имеется бабушка, которая позволяет себе потчевать его розгой, — обратился он к артистке Фрелих, с явным намерением унижить мужское достоинство Кизелака.

Но Кизелак знал, что в свое время «дошел до конца класса» с артисткой Фрелих как раз с помощью мужского достоинства. Он потер себе зад и скопил глаза на кончик носа:

— Бабушка прибьет меня, если я не найду свою тетрадь для сочинений. А я обронил ее где-то здесь...

Он внезапно нырнул под стол, схватил актрису Фрелих за ноги и под шумные разговоры супругов Киперт изложил ей свои требования. В противном случае он все расскажет Гнусу.

— Сопляк, — шепнула она под стол и отпихнула Кизелака ногой.

Гнус в это время обратился к другому ученику:

— Итак, фон Эрцум, — и вы в свою очередь? Выражение, присущее вашему лицу, заставляет предположить, что усвоение предмета дается вам здесь не менее туго, чем в классе. Говорят, вы — прошу заметить — возымели дерзость сделать официальное предложение артистке Фрелих?... По вашим бессмысленно вытаращенным глазам я могу судить, какой вам был дан ответ. Артистка Фрелих поставила вас на место, приличествующее ученику шестого класса. К этому мне нечего добавить. Встаньте...

Эрцум повиновался, ибо Роза смеялась и ее смех сковал его, лишил воли к сопротивлению и остатков чувства собственного достоинства.

— И мы поверим, не привело ли ваше вечное пребывание в «Голубом ангеле» к тому, что вы, слабейший из учеников, вовсе не можете выполнить требований школы, либо беззастенчиво пренебрегаете ими. Скажите-ка нам текст псалмов, заданных на завтра.

Широко раскрытые глаза Эрцума блуждали. На лбу выступила испарина. Он вновь почувствовал ярмо на своей шее и затянул:

Как тебя, твой раб смиренный,

Я, господь, не воспою —

Если зрю во всей вселенной

Благодать дивную твою?

Роза взвизгнула раз, другой. Госпожа Киперт благодушно закудаhtала. Роза подвизгивала, с намерением обидеть Эрцума, нежным голоском — из нежности к Гнусу, руку которого она сжимала, и еще чтобы польстить ему, вознаградить его за власть над этим рыжим увальнем, который срывающимся, подобострастным голосом декламировал благочестивые стихи. Фон Эрцум прочитал еще:

Переполнено любовью
Сердце верное его... —

но вдруг потерял самообладание. Очень уж дико повел себя Киперт. Он только сейчас начал смаковать происходящее и взревел прямо в лицо Эрцуму, изо всей силы хлопнув себя по колену:

— Вот это да! Что вы там несете? Или у вас ум за разум зашел?

При этом он подмигнул Гнусу: ему, мол, ясно, чего стоит этот граф, читающий псалмы в задней комнате «Голубого ангела», и, как человек определенных убеждений, он, безусловно, присоединяется к этой издевке над дворянством и религией. Он приоткрыл дверь, будто бы заказывая хорал пианисту. Потом сам его затянул... Но Эрцум уже молчал.

Правда, дальше он не выучил. Но, главное, он задохся от безмерной ярости к этому толстому, хохочущему, пьяному человеку. Все поплыло у него перед глазами. Он чувствовал, что умрет на месте, если тотчас не налетит на него с кулаками, не наступит коленями ему на грудь. Его передернуло раз, другой; он поднял сжатые кулаки... и бросился вперед.

Атлет, задыхавшийся от смеха, ничего подобного не ждал; таким образом, он оказался в невыгодном положении. Эрцум действовал всерьез, и у него становилось легче на душе, по мере того как он утолял свой мускульный голод. Они катались из угла в угол. В пылу драки Эрцум услышал вскрик Розы. Он знал, что она смотрит на него, дышал глубже, крепче сжимал руками и ногами тело противника, ибо испытывал неимоверное облегчение от того, что все стало на свои места: он борется на ее глазах, как боролся тогда с пастухом за скотницу.

Тем временем Гнус, проявивший весьма мало интереса к этой схватке, обратился к Ломану:

— А что происходит с вами, Ломан? Вы сидите здесь и курите, — опять-таки, конечно, — а между тем в классе вы отсутствовали.

— Я был не в настроении, господин учитель.

— Тем не менее, однако, вы в настроении с утра до вечера торчать в «Голубом ангеле».

— Это дело другое, господин учитель. Сегодня утром у меня была мигрень. Врач запретил мне всякое умственное напряжение и предписал рассеяться.

— Так-с! Допустим..

Гнус пошмыгал носом. И напал на идею.

— Вот вы сидите и курите, — повторил он, — а спрашивается, приличествует ли это гимназисту в присутствии учителя?

И так как Ломан продолжал сидеть не шевелясь, утомленно, хотя и с любопытством глядя на него из-под полуопущенных век, Гнуса взорвало.

— Бросьте папиросу! — сдавленным голосом крикнул он.

Ломан не шелохнулся. Меж тем Киперт и Эрцум подкатились под стол; Гнусу пришлось спасать себя, артистку Фрелих, целый арсенал стаканов и бутылок. Покончив с этим, он заорал:

— Итак! Вперед, начали!

— Папироса, — отвечал Ломан, — гармонирует со всей ситуацией, а ситуация необычная — для нас обоих, господин учитель.

Гнус, испуганный сопротивлением, дрожал мелкой дрожью:

— Бросить папиросу, я сказал!

— Весьма сожалею, — ответил Ломан.

— Как вы смеете, мальчишка!

Ломан только отмахнулся от него своей тонкой рукою. Вне себя Гнус вскочил со стула, как тиран с пошатнувшегося под ним трона.

— Вы бросите папиросу, или я испорчу вам всю жизнь! Я вас уничтожу! Я не намерен...

Ломан передернул плечами.

— Сожалею, господин учитель, но теперь это уже невозможно. Вы, видимо, не отдаете себе отчета...

Гнус налился кровью. Глаза у него стали, как у разъяренной кошки; жилы на шее вздулись, в провалах от выпавших зубов проступила пена, указательный палец с пожелтым ногтем простерся к врагу.

Артистка Фрелих, еще не вполне очнувшись от сладостных воспоминаний и потому несколько ошалелая, прильнула к нему, осыпая бранью Ломана.

— Да что вам от меня надо? Вы лучше его утихомирьте, — посоветовал тот.

Но тут Эрцум и Киперт налетели на два отчаянно затрепавших стула и так наподдали сзади обнявшуюся чету, что те ткнулись носом в стол. Из укромного уголка за туалетным столиком Розы Фрелих раздался ликующий смех Кизелака. Он втихомолку утешался там с госпожой Киперт.

Выпрямившись, Гнус и его подруга озлились еще больше.

— Вы у меня самый последний, — кричала она Ломану.

— Я помню, сударыня, что вы мне это обещали, и заранее радуюсь.

И покуда она, растрепанная, в расстегнувшемся платье, с гримом, растекающимся по вспотевшему лицу, на все лады его поносила, его вдруг разобрало страстное желание: как сладостно унижить свою жестокую любовь темными ласками порока!

Но желание это мгновенно прошло. Гнус, корчившийся в судорогах страха, догадался пригрозить ему:

— Если вы сию минуту не бросите папиросу, я самолично препровожу вас домой к отцу!

А в этот вечер в доме Ломанов ждали гостей, в том числе и консула Бретпота с супругой.

Ломан живо представил себе, как Гнус врывается в гостиную... Невозможно обречь Дору Бретпот на такую встречу, тем более теперь: вчера он узнал, что она беременна. Его мать проговорилась... И это было причиной его отсутствия в классе. Подперев голову кулаками, он целый день просидел, запершись, в своей комнате, ибо мучительные мысли об этом ребенке, — то ли от ассессора Кнуста, то ли от лейтенанта фон Гиршке, а возможно, в конце концов, что и от консула Бретпота, — сами собой слагались в стихи.

— Идите за мной! — орал Гнус. — Ученик шестого класса Ломан, я приказываю вам идти за мной.

Ломан раздраженно бросил папиросу. Гнус мгновенно успокоился и снова сел на свое место.

— Так-то оно лучше! Разумеется, конечно. Теперь вы ведете себя, как подобает ученику, желающему снискать благорасположение учителя... И этот учитель прощает вас, Ломан, ибо вы... — опять-таки — безусловно являетесь *mente captus*. [7] Это, конечно, следствие несчастной любви.

Ломан бессильно уронил руки. Он стал мертвенно-бледен, а глаза его запыхали таким черным огнем, что артистка Фрелих в удивлении на него уставилась.

— Или я ошибся? — источал яды Гнус. — Ведь вы, надо полагать, сочиняете стихи именно потому, что...

— Не дошли до конца класса, — конфузливо закончила артистка Фрелих. Она переняла этот оборот у Кизелака.

Ломан думал: «Эта мразь все знает. Сейчас я встану, пойду домой, влезу на чердак и направлю ствол ружья себе прямо в сердце. А внизу за роялем будет сидеть Дора. Песенка, которую она поет, вспорхнет ввысь, и золотая пыльца ее крыльев, мерцая, усыплет мой смертный путь...»

Артистка Фрелих осведомилась:

— А вы хоть помните, что вы на меня насочиняли?

Она сказала это беззлобно, со вздохом. Ей хотелось от него кое-чего другого.

Теперь она ясно вспомнила, что всегда хотела от него большего, и подумала, что он жестокий человек и не слишком сообразительный.

— «Коль в интересном положении...» Ну, и что же, спрашивается, в интересном положении?

Еще и это. Они и это знали. Ломан, приговоренный к смерти, встал и пошел прочь отсюда. Уже взявшись за ручку двери, он услышал, как Гнус говорит:

7 Сумасшедший, неменяемый (лат.).

— Ясно и самоочевидно. Вы питаете несчастную любовь к артистке Фрелих, которая, однако, отказала вам во взаимности и тем самым в удовлетворении желания, высказанного вами в упомянутых бесстыдных стихах. Не удалось вам посидеть в каталажке артистки Фрелих, Ломан. Вам остается только вернуться к своим пенатам, Ломан!

Ломан круто обернулся:

— Так это все?

— Да, — подтвердила Роза. — Все точка в точку. Что ни слово, то правда. Старый дурак, расплывающийся от хвастливой старческой гордости, и неаппетитная девчонка — вот и все. Оба безвредны, и оба ничего не знают. Трагедию только что истекших минут Ломан пережил по ошибке, он не имел права на нее. Ему незачем идти стреляться. Он почувствовал разочарование. Как все это по-дурацки вышло; унижительная житейская комедия, а он живет и все еще торчит в этой каталажке.

— Ну-с, фон Эрцум, — произнес Гнус, — а теперь извольте-ка незамедлительно очистить поле действия. А за то, что вы осмелились в присутствии учителя затеять драку, вам придется шесть раз переписать те стихи из псалма, которых вы не знали.

Эрцум, протрезвившийся и отягченный сознанием, что мускульная радость, только что им испытанная, — самообман, что победа над этим силачом ни к чему не привела, ибо победитель тут один — Гнус, не шевелясь глядел в равнодушное лицо артистки Фрелих.

— Убирайтесь вон! — рявкнул Гнус.

Кизелак хотел прошмыгнуть за ним.

— Куда? Не испросив разрешения учителя!.. Вам дается задание — выучить наизусть сорок стихов Вергилия.

— Это почему? — возмутился Кизелак.

— Потому что так желает учитель!

Кизелак исподлобья на него посмотрел, решил, что лучше не связываться, и потихоньку ускользнул.

Его приятели успели уже уйти довольно далеко.

Эрцум, чувствуя потребность презирать и унижать Розу и ее обожателя, говорил:

— На девчонке, видно, приходится поставить крест. Я уже привыкаю к этой мысли. Уверяю тебя, Ломан, я от этого не умру... Но что ты скажешь о Гнусе? Видано ли такое бесстыдство?

Ломан горько усмехнулся. Он понял: Эрцум побит и жалуется, ища утешения в традиционной морали — неизменном прибежище всех побежденных. Ломан этой морали не признавал, как бы туго ему ни приходилось.

Он начал:

— С нашей стороны глупо было являться туда и полагать, что мы его смутим. Надо было сообразить, что такого не проймешь. Он уже давно считает нас за соучастников. Ведь сколько раз мы здесь встречались. Он и домой-то нас провожал, чтобы мы не мешали ему увиваться за этой Фрелих. Неужто он не допускает мысли, что ему, пока он таскался за нами, мог помешать кто-нибудь другой?

Эти слова ранили Эрцума, он застонал.

— Право же, ты не должен строить себе иллюзий на этот счет, Эрцум. Будь мужчиной.

Эрцум дрожащим голосом стал заверять, что Роза ему безразлична и что он уже больше не интересуется, чиста она или нет. Возмущает его только грязное поведение Гнуса.

— А меня ничуть, — заявил Ломан. — Напротив, этот Гнус начинает занимать меня: в сущности, он интереснейшее явление. Подумай, в каких обстоятельствах ему

приходится действовать, ведь он вся и всех восстановил против себя. Тут необходима громадная самоуверенность, я бы, например, не выдержал. Да к тому же надо быть в какой-то мере анархистом..

Все это выходило за пределы понимания фон Эрцума. Он что-то буркнул себе под нос.

— Что? — переспросил Ломан. — Да, конечно, сцена вышла мерзкая. Но было в ней что-то мерзко-величавое, или, вернее, величаво-мерзкое. Так или иначе, но величие в ней было.

Эрцум не мог больше держать себя в руках.

— Ломан, неужто она и вправду не была невинна?

— Во всяком случае, Гнус теперь прикрыл грех. А из этого ты можешь сделать вывод об ее прежней жизни.

— Я считал ее образцом чистоты. Все это какой-то тяжелый сон. Ты будешь смеяться, Ломан, но я близок к самоубийству.

— Если хочешь, посмеюсь.

— Как мне с этим справиться? Неужели еще кто-нибудь переживал подобное? Я ставил ее так высоко, по правде говоря — я даже не надеялся ее добиться. Ты помнишь, в каком я был состоянии, когда разрывал курган? И, клянусь, не от радости, я просто дрожал перед ее решением. Видит бог, я бы удивился, если бы она согласилась бежать со мной. И как мог я надеяться, чтобы женщина с такой душой снизошла.. И когда жребий был брошен..

Ломан искоса поглядел на него. «Жребий брошен..» Эрцуму надо было дойти бог знает до какого состояния, чтобы заговорить так высокопарно.

— ...я и тогда чувствовал, что я пропащий человек. Но по сравнению с сегодняшним это еще было блаженство. Понимаешь ли ты, Ломан, до чего низко она пала?

— До гнуса.

— Нет, ты только подумай, ну пара ли он ей? Или уж она самая что ни на есть последняя?

Ломан не отвечал. Эрцуму, видно, насущно необходимо вознести Розу Фрелих до облаков. Этот недалекий малый внушает себе, что никогда не дерзал надеяться обладать Розой Фрелих. А цель этого самообмана — то, что Гнусу уж и подавно не подняться до нее из своей грязной лужи. Жизненный опыт в образе скотницы скрылся в туманной дали, рыжий помещичий сынок уступил место нервозному мечтателю; так было легче самолюбию Эрцума. «Вот они, люди!» — подумал Ломан.

— А когда я начинаю спрашивать себя, почему же, — продолжал Эрцум, — я не нахожу никакого объяснения. Я предлагал ей все, что только может предложить человек.. Чтоб она меня полюбила; на это я, честно говоря, не очень-то надеялся. Она обходилась со мной не лучше, чем с тобой! Да и почему бы ей выбрать именно меня.. Но Гнус... Можешь ты этому поверить, дружище? Гнус?!

— Женщины непостижимы, — изрек Ломан и погрузился в размышления.

— Я все еще не верю! Не иначе как этот подлец посулил ей золотые горы; он ее загубит.

И подумал:

«Может быть... тогда...»

Тут их догнал Кизелак. Он уже довольно долго крался за ними. Кизелак заорал во весь голос:

— Лопни мои глаза, если Гнус не расщедрился на десять марок; я подглядел в скважину.

— Врешь... скотина! — взревел Эрцум и ринулся на него с кулаками.

Но Кизелак это предусмотрел и в мгновение ока скрылся.

.

Глава одиннадцатая

Кизелак соврал. Гнус и не думал предлагать деньги артистке Фрелих: не из деликатности и не от скупости, просто не догадался, и она это знала. Ей пришлось нередко и достаточно прозрачно намекать на неудобное жилье, прежде чем он вспомнил о квартире, которую обещал нанять для нее. Когда он наконец завел об этом разговор и предложил ей перебраться в меблированные комнаты, она вышла из

себя и без околичностей потребовала, чтобы он снял и обставил ей квартиру. Гнус был поражен.

— Поскольку ты всегда проживаешь совместно с супругами Киперт...

Он привык мыслить прочными категориями; столь решительный поворот следовало всесторонне обдумать. Мозг его напряженно работал.

— А если — прошу заметить — супруги Киперт покинут наш город?

— А если я не пожелаю с ними ехать, — немедленно возразила она, — что тогда мне прикажешь делать?

Он растерялся.

— Ну же, Гнусик, ну? — Она заездила вокруг него и вдруг, торжествуя, воскликнула: — Тогда я останусь здесь!

Он просиял. Вот это новость! Ничего подобного ему в голову не приходило.

— Тогда ты останешься здесь, останешься здесь, — твердил он, стараясь привыкнуть к этой мысли. — Это ты хорошо придумала, — признательно добавил он. Он был счастлив, и тем не менее через несколько дней ей опять пришлось немало поворковать, прежде чем он уразумел, что должен отныне оплачивать ее стол в каком-нибудь хорошем ресторане, так как питаться в «Голубом ангеле» она больше не желает.

Сообразив наконец, чего она от него требует, он даже предложил столоваться вместе с ней. К большому его разочарованию, она это предложение отклонила, зато позволила ему оплачивать в «Шведском подворье» не только ее стол, но и комнату, куда не будет нанята и обставлена квартира.

Гнус с юношеским пылом хватался за любую возможность вырвать Розу из ее окружения, крепче привязать к себе, всему свету противопоставить артистку Фрелих. Он торопил обойщика — ведь он работает для артистки Фрелих. Пугал мебельщика недовольством артистки Фрелих, в бельевом и в посудном магазинах внушительно толковал об изысканном вкусе артистки Фрелих. Город принадлежал артистке Фрелих; Гнус везде брал то, что достойно ее, везде произносил ее имя, не обращая внимания на неодобрительные взгляды. Нагруженный свертками, он неустанно носился к ней и от нее, с утра до вечера был озабочен неотложными и весьма важными делами, которые ему необходимо было обсудить и обдумать с артисткой Фрелих. На его землистых щеках от этой радостной деятельности пылали красные пятна. По ночам он крепко спал, а дни его были заполнены до отказа. Единственным его огорчением было то, что она нигде с ним не появлялась. Ему хотелось водить ее по городу, показывать королеве ее королевство, представлять ей подданных, защищать ее от мятежников: в ту пору Гнус не боялся мятежа, а даже стремился вызвать его. Но у нее либо именно в этот час оказывалась репетиция, либо она чувствовала себя усталой и нездоровой, либо толстуха ей чем-нибудь досадила. По этому случаю Гнус однажды закатил Кипертше сцену, но тут выяснилось, что в этот день она в глаза не видела артистку Фрелих.

Гнус оторопел. Толстуха многозначительно улыбалась. В полной растерянности он пошел обратно к артистке Фрелих, и ей пришлось снова его успокаивать.

Причина такого ее поведения была проста: она считала преждевременным показываться с Гнусом. Увидят его с нею и начнут на нее наговаривать. Еще не уверенная в своем безусловном влиянии на него, она боялась, что не сумеет опровергнуть то, что ему на нее наплетут. Непогрешимой она себя не считала: но у кого не водится в прошлом каких-нибудь грешков? Все это сущие пустяки, конечно, но если уж у мужчины серьезные намерения, то ему незачем знать о них. Будь мужчины поразумнее, насколько легче была бы жизнь! Она ущипнула бы своего Гнусика за подбородок и все бы ему выложила: так, мол, и так. А теперь — изволь выворачиваться. И самое скверное, — он может вообразить какую-нибудь несурязицу, например, что она остается дома, желая поразвлечься без него. А это, видит бог, не так. Этим она сыта по горло и рада-радехонька немножко отдохнуть со своим старым чудачком Гнусиком, который занимается ею столько, сколько никто никогда не занимался, и к тому же — она поглядела на него долго и задумчиво — он действительно кавалер что надо.

Но Гнус был далек от подозрений, которых она опасалась; ничего подобного ему и на ум не приходило.

Кроме того, под его крылышком она могла и не обращать внимания на людские пересуды. Он был сильнее, чем полагала артистка Фрелих. Временами его одолевал страх, он боролся с ним, а ей ничего не говорил. В большинстве случаев страх подступал к нему в гимназии.

В гимназии благодаря Кизелаку все от мала до велика были осведомлены о внеслужебном времяпрепровождении Гнуса. Кое-кто из учителей помоложе, еще не зная, какие убеждения будут лучше способствовать их карьере, обходили его, чтобы с ним не раскланиваться. Молодой учитель Рихтер, осмелившийся ухаживать за девушкой из богатой семьи, — в такие семьи учителя обычно доступа не имели, — приветствовал его язвительной усмешкой. Другие подчеркнуто уклонялись от всякого общения со своим коллегой. Один из них в классе Гнуса говорил о «нравственной гнуса и мрази», которой не должны поддаваться гимназисты.

Это был тот самый учитель Гюббенет, который в свое время резко отозвался о нравственной неблаговидности Гнусова сына, и тоже в классе отца.

И теперь, стоило только Гнусу появиться на школьном дворе, как школьники начинали орать:

— Ого-го! Опять понесло нравственной гнусью!

Надзиратель при этом брезгливо отворачивался, а старик приближался, и под его косым злобным взглядом шум постепенно замолкал; но тут на его пути выросла хмурый Кизелак и произносил медленно, членораздельно:

— Вернее, мразью!

И Гнус, съжившись, проходил дальше; поймать Кизелака с поличным он не мог.

Ни Кизелака, ни фон Эрцума, ни Ломана ему уже никогда не сцапать, не «поймать с поличным», — это он понимал. Он и эти трое гимназистов по рукам и ногам связаны между собой взаимной терпимостью. И так же точно Гнус уже ничего не мог поделаться с Ломаном, который безучастно сидел на уроках, а когда его вызывали, аффектированным голосом отвечал: «Я занят». Не мог он и «посадить» Эрцума, когда тот, наскучив бесплодным корпением над классной работой, вырывал у соседа тетрадку и скатывал оттуда. И он молча носил, когда Кизелак сбивал с толку других учеников, подсказывая им несусветную чепуху, громко разговаривал, без всякого на то повода расхаживал по классу и даже затевал потасовки во время урока.

Если же Гнусу случалось поддаться панике тирана, под которым шатается трон, и он отправлял смутьянов в каталажку, то дело принимало еще худший оборот. В класс доносилось хлопанье пробок, бульканье льющегося вина, громогласные тосты, подозрительное хихиканье, звук поцелуев... Гнус опрометью мчался к двери и впускал Кизелака обратно в класс. Двое других без разрешения являлись вслед за ним с угрожающими и презрительными физиономиями...

В такие минуты Гнус, конечно, выходил из себя. Но что с того? Ведь как-никак побежденными-то были они, не им досталась артистка Фрелих! Не Ломан сидел с нею в каталажке...

Едва выйдя за ворота школы, Гнус стряхивал с себя злость, и мысли его устремлялись к серому платью артистки Фрелих, которое надо взять из прачечной, к конфетам, которые он намеревался ей поднести.

Между тем директор гимназии не мог уж больше закрывать глаза на то, что происходило в шестом классе. Он призвал Гнуса к себе в кабинет и заговорил с ним о моральном распаде, который явно угрожает его классу. Он не хочет доискиваться источника этой заразы: будь там классный наставник помоложе, он, директор, разумеется, произвел бы тщательное дознание. Но почтеннейший коллега поседел на педагогическом поприще и, конечно, сумеет разобраться в самом себе и поразмыслить о том, что классный наставник являет собою пример классу.

Гнус на это ответил:

— Господин директор, афинянин Перикл — ясно и самоочевидно — возлюбленной своей имел Аспизию{21}.

— Это обстоятельство тут ни при чем, — заметил директор.

Гнус с ним не согласился:

— Я потерял бы право на самоуважение, если бы преподносил ученикам классические идеалы лишь как досужую выдумку. Человек, получивший классическое образование, вправе пренебрегать предрассудками низших классов.

Директор, не найдясь что ответить, отпустил Гнуса и долго сидел, погруженный в раздумье. В конце концов он решил сохранить эту беседу в тайне, дабы непосвященные не истолковали ее в смысле, невыгодном для гимназии и учительства. Свою домоправительницу, решительно восставшую против визитов артистки Фрелих, Гнус с торжествующим спокойствием, о которое, как о скалу, разбилась ее ярость, выставил за дверь. Ее место заняла служанка из «Голубого ангела». Она была похожа на швабру и принимала в своей комнатухе приказчика из мясной лавки, трубочиста, фонарщика, словом — всю улицу без разбора.

Желтолицая портниха, к которой Гнус частенько навещался с поручениями артистки Фрелих, держалась с ним холодно и даже сурово. Но однажды, когда Гнус оплатил довольно значительный счет, у нее развязался язык. Надо бы господину профессору прислушаться к тому, что говорят люди. В его-то годы, да и вообще!.. Гнус, не устаивая ее ответом, сунул сдачу в кошелек и направился к двери. На пороге он обернулся и снисходительно заметил:

— Судя по тому, какой момент вам угодно было выбрать для этого разговора, почтеннейшая, вы опасались, как бы излишняя откровенность не нанесла вам материального урона. Не волнуйтесь! Вы можете и впредь работать на артистку Фрелих.

И удалился.

И наконец в одно воскресное утро, когда Гнус на обороте одной из страниц «Партикул Гомера» набрасывал черновик письма к артистке Фрелих, раздался стук в дверь, и в кабинет вошел сапожник Риндфлейш. На нем был цилиндр и черный мешковатый сюртук. Риндфлейш расшаркался и, выставив свое брюшко, сказал:

— Господин профессор, доброе утро, господин профессор, покорнейше прошу разрешения задать вам один вопрос, господин профессор.

— Я жду, любезный.

— Долго я судил да рядил, очень уж неловко выходит, ну уж раз на то воля божия!

— Вперед, вперед, мой друг!

— И вообще-то я ничему такому про господина профессора не верю. Люди много чего говорят про господина профессора, да кому ж это и знать, как не самому господину профессору. Но доброму христианину таким речам верить не годится.. Нет! Куда там!

— Если так, — отвечал Гнус, кивком головы давая понять, что аудиенция закончена, — то и говорить нечего.

Риндфлейш стоял, потупившись, и вертел в руках цилиндр.

— Так-то оно так, да господу богу угодно, чтобы я сказал господину профессору, что это господу богу не угодно.

— Кто ему неуютен? — спросил Гнус и саркастически усмехнулся. — Артистка Фрелих, по-видимому?

Сапожник тяжело дышал под бременем своей миссии. Его продолговатые, отвислые щеки ходуном ходили в остроконечной бороде.

— Я ведь сподобился открыть господину профессору, — от таинственности голос его понизился, — что господь бог позволяет это, только чтобы..

— Иметь побольше ангелов. Хорошо, любезный. Я посмотрю, что тут можно будет сделать.

И все с той же саркастической усмешкой он выставил Риндфлейша за дверь.

Так жил Гнус в упоении безмятежности, пока не разразилась беда.

Некий лесной объездчик сообщил своему начальству, что курган гуннов подвергся злонамеренному разрушению. В одно воскресенье, утром, когда, как ему думается, и было совершено это кощунство, он встретил на лесной дороге компанию молодых людей. После длительного и тщетного расследования, предпринятого прокуратурой, в один из понедельников объездчик появился в актовом зале гимназии бок о бок с директором.

Во время молебна, пока директор читал главу из Библии и потом, когда гимназисты пели хорал, сей представитель народа разглядывал собравшихся с высоты директорского подиума. При этом он то и дело вытирал пот со лба и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Наконец ему все-таки пришлось спуститься вниз и под предводительством директора пройти по рядам гимназистов. Во время этой процедуры он вел себя как человек, не по чину затесавшийся в высокопоставленное общество, ни на кого не поднимал глаз и низко поклонился Эрцуму, который наступил ему на ногу.

Когда, казалось, исчезла всякая надежда отыскать преступников в стенах гимназии, директор испробовал крайнее средство. Прочитав специально выбранную главу из Библии, он высказал уверенность, что она дойдет до сердца хотя бы одного из виновников, смягчит его душу и побудит не только явиться с повинной в кабинет директора, но и выдать своих сообщников, которые будут незамедлительно переданы в руки правосудия. В награду за это раскаявшийся гимназист не только не понесет наказания, но еще получит денежную награду... На этом молебен закончился. Всего тремя днями позднее на уроке, посвященном Титу Ливию{22}, когда вконец распустившийся класс занимался чем угодно, кроме Тита Ливия, Гнус вдруг подскочил как ужаленный и стал орать:

— Ломан, книгу, которая вас так интересуется, вам придется дочитывать уже в другом месте! Кизелак, хватит вам мозолить здесь всем глаза своим бездельем! Фон Эрцум, скоро вы — ясно и самоочевидно — опять будете возить навоз в родных краях. Таких отпетых мерзавцев, как вы, в каталажку не запирают; для вас это слишком благородное местопребывание, но, будьте спокойны, я приложу все старанья, чтобы вы закончили свою карьеру в достойном вас обществе воров и бандитов. Недолго вам осталось пребывать среди порядочных людей, разве что считанные дни!

Правда, Ломан встал с места и, нахмурившись, попросил разъяснения; но замогильный голос Гнуса был исполнен такой неборимой ненависти, на физиономии его изображалось такое злобное торжество, что все почувствовали себя уничтоженными. Ломан сел, сожалительно передернув плечами.

На следующей перемене ему вместе с Кизелаком и фон Эрцумом велено было явиться к директору. Вернувшись, они с нарочитым равнодушием пояснили, что директор вызывал их по поводу этой дурацкой истории с курганом. Но вокруг них тотчас же образовалась пустота. Кизелак шептал:

— И кто же это, кто на нас донес?

Ломан и Эрцум обменялись презрительными взглядами и повернулись к нему спиной. Однажды утром все трое были освобождены от занятий; в сопровождении следственной комиссии их отвезли на место преступления — к злополучному кургану. Здесь их опознал лесной объездчик. Из-за дальнейшего расследования они еще несколько дней не показывались в гимназии и, наконец, в качестве подсудимых предстали перед судом. Первое, что бросилось им в глаза, — ядовито улыбающийся Гнус на свидетельской скамье.

В публике находились консул Бретпот и консул Ломан; товарищу прокурора волей-неволей пришлось отвесить поклон своим влиятельным согражданам. Сердце у него обливалось кровью от глупости молодого Ломана и его приятелей: и почему эти юноши не могли сами явиться в прокуратуру с разъяснениями? Там бы уж постарались, чтобы дело не получило широкой огласки. Ведь представители обвинения полагали, что все это мальчишки без роду без племени, вроде Кизелака. Приступая к разбору дела, председатель спросил троих подсудимых, признают ли они себя виновными. Кизелак немедленно начал отпираться. Но несколькими днями раньше он признался директору и подтвердил свое признание на предварительном следствии. Выступил директор и многословно обо всем этом рассказал, после того как его привели к присяге.

— Господин директор лжет, — упорствовал Кизелак.

— Но ведь господин директор говорит это под присягой.

— Эка важность, значит, он врет под присягой. — Кизелак не сдавался.

Он закусил удила. Из гимназии его все равно выгонят. Вдобавок он был озлоблен и поколеблен в своей вере в человечество — ему не только не выдали обещанной награды, но предали суду.

Ломан и граф Эрцум признали себя виновными.

— Я этого не делал, — пискливым голосом прокричал Кизелак.

— А мы сделали, — решительно заявил Ломан. Дружба с Кизелаком в эту минуту оскорбляла его.

— Прошу прощения, — вмешался Эрцум. — Я сделал это один.

— Этого еще недоставало! — На лице Ломана появилось сурово-усталое выражение. — Я решительнейшим образом подтверждаю свое участие в порче общественного достояния, или как там это называется.

Фон Эрцум настойчиво повторил:

— Я разрывал курган совершенно один. Это сущая правда.

— Брось молоть чепуху, дружище! — сказал Ломан.

Эрцум возразил:

— Чтоб тебя... ты же находился вдали от кургана и сидел с...

— С кем? — осведомился председатель.

— Ни с кем! — Фон Эрцум побагровел.

— Вероятно, с Кизелаком, — поспешил сказать Ломан. Товарищ прокурора считал весьма желательным, чтобы вина распределилась между большим количеством участников, тогда ее меньше придется на долю сына консула Ломана и подопечного консула Бретпота. Он обратил внимание Эрцума на неправдоподобность взведенного им на себя обвинения.

— Разрушения, которые вы будто бы произвели в одиночку, не под силу даже профессиональному силачу.

— Тем не менее... — скромно, но не без гордости отвечал Эрцум.

Председатель предложил ему и Ломану назвать имена остальных соучастников.

— У вас там, наверно, была большая и веселая компания, — благожелательно предположил он. — Назовите имена ваших соучастников. Этим вы окажете услугу и себе и нам.

Подсудимые молчали. Представители защиты обратили внимание суда на благородство такого поведения. Оба молодых человека на предварительном следствии твердо держались своего решения — никого не компрометировать.

Кизелак вел себя точно так же, но ему никто этого не поставил в заслугу.

Впрочем, он только держал про запас заготовленный удар.

— Значит, с вами больше никого не было? — повторил свой вопрос председатель.

— Нет, — отвечал Эрцум.

— Нет, — отвечал Ломан.

— Неправда, — воскликнул Кизелак голосом прилежного ученика, вы зубрившего все заданные спряжения. — С нами была артистка Фрелих.

Зал насторожился.

— Она-то и надумала разворошить курган.

— Ложь, — сказал Эрцум и заскрежетал зубами.

— Ложь, от первого до последнего слова, — подтвердил Ломан.

— Это чистая правда, — уверял Кизелак. — Спросите господина учителя. Господин учитель лучше всех нас знает артистку Фрелих.

Он бросил взгляд на свидетельскую скамью и ухмыльнулся.

— Разве не правда, господин учитель, что артистка Фрелих удрала от вас в воскресенье? И поехала завтракать с нами у кургана?

Все взгляды обратились на Гнуса. Он помертвел, зубы у него стучали.

— Так эта дама действительно была с вами? — обратился один из судей к двум остальным обвиняемым. В тоне его слышалось откровенное любопытство. Те пожали плечами. Но Гнус задыхающимся голосом крикнул:

— На этом вы погорели, мерзавцы! Можете — ясно и самоочевидно — записать себя в покойники.

— Кто, собственно, эта дама? — задал чисто формальный вопрос товарищ прокурора; ибо решительно все присутствующие знали историю ее и Гнуса.

— Господин учитель Нусс даст нам необходимую справку, — сказал председатель. Гнус ограничился сообщением, что эта дама — артистка. Товарищ прокурора возбудил перед судом ходатайство о немедленном вызове упомянутой особы, дабы выяснить, не должна ли и она быть привлечена к ответственности, как вдохновительница означенного преступления. Суд ходатайство удовлетворил, и за артисткой Фрелих был послан судебный пристав.

Тем временем молодой адвокат, защищавший Ломана и фон Эрцума, молча наблюдал за душевным состоянием Гнуса. Он пришел к выводу, что сейчас самая пора заставить его выговориться, и попросил суд заслушать показания господина учителя Нусса, могущие охарактеризовать общий моральный и умственный уровень обвиняемых. Суд и эту просьбу удовлетворил. Товарищ прокурора, опасавшийся высказываний, неблагоприятных для сына консула Ломана и подопечного консула Бретпота, тщетно пытался этому воспрепятствовать.

Когда Гнус подошел к барьеру, в зале послышался смех. Возбужденный и одновременно напуганный, с лицом, искаженным мучительной злобой, он весь взмок от пота.

— Ясно и самоочевидно, — без обиняков начал он, — что артистка Фрелих не являлась соучастницей мерзкого преступления, более того, что она вообще не принимала участия в этом нечестивом пикнике.

Его прервали, чтобы привести к присяге. Принеся таковую, он пожелал еще раз повторить то же самое. Председатель снова его прервал: от него ждут показаний только относительно трех гимназистов. Гнус с места в карьер стал потрясать руками и кричать своим замогильным голосом так, словно его загнали в тупик, из которого уже нет выхода.

— Эти мальчишки — отбросы человечества! Взгляните на них; они точно вырвались из арестного дома! С младых ногтей они не только не признавали авторитета учителя, не только смутьянили сами, но сеяли смуту среди других. Благодаря их агитации класс в большей своей части состоит из подлецов. Они пустили в ход все, все: революционные махинации, сознательный обман и прочие низкопробные средства, чтобы обеспечить себе будущность, которая теперь — несомненно и непреложно — открывается перед ними. Я всегда был уверен, что увижу их на скамье подсудимых. — И с мстительным криком смертельно раненного зверя он обернулся к трем соблазнителям артистки Фрелих. — Итак, лицом к лицу, — Ломан...

Он начал разоблачать перед судом и публикой каждого из них в отдельности. Любовные стихи Ломана, ночные вылазки Эрцума, совершаемые с балкона пастора Теландера, наглое поведение Кизелака в запретном для гимназистов заведении. Трясаясь от злобы, он валил в одну кучу незадачливого дядю Эрцума, дурацкую кичливость местных богачей, пьянство опустившегося портового чиновника Кизелака-старшего.

Суд был явно поражен клокотаньем этого потока помоев. Товарищ прокурора бросал извиняющиеся взгляды на консула Ломана и консула Бретпота. Молодой адвокат с насмешливым удовлетворением наблюдал за публикой в зале. Гнус был смешон и омерзителен.

Наконец председатель прервал его, заявив, что суд составил себе достаточно ясное понятие о его взаимоотношениях с учениками. Гнус пропустил это мимо ушей и, не переводя дыханья, продолжал:

— Долго ли еще будут такие отбросы человечества, по низости превосходящие Катилину{23}, оскорблять землю своим пребыванием на ней! И эти люди смеют утверждать, будто артистка Фрелих принимала участие в их преступных оргиях! Да, им осталось лишь последнее — запятнать честь артистки Фрелих!

Среди шумной веселости зала, вызванной этими словами, Гнус едва устоял на ногах. Ибо то, что он сказал, не соответствовало его внутреннему убеждению. В глубине души он был уверен, что артистка Фрелих, неизвестно куда исчезнувшая в тот злополучный день, была на пикнике у кургана. Более того. Торопливо проанализировав факты, до сих пор не бросавшиеся ему в глаза, он обомлел. Артистка Фрелих всегда уклонялась от совместного появления в городе. Что крылось за предложениями, которые она изыскивала, чтобы остаться в одиночестве?... Ломан?..

Он снова обрушился на Ломана, крича, что могуществу его касты скоро придет конец. Но председатель приказал ему вернуться на место и распорядился ввести свидетельницу Фрелих.

При ее появлении пронесся шепот. Председатель пригрозил очистить зал. Публика утомилась; артистка Фрелих пришлась ей по вкусу. Она была в сером суконном костюме, не крикливом и элегантно, с гладко причесанными волосами, только чуть-чуть подрумяненная, в шляпе сравнительно скромных размеров, с одним только страусовым пером. Молодая девушка в публике, обращаясь к матери, вслух высказала восхищение красотой этой дамы. Артистка Фрелих непринужденно приблизилась к судейскому столу; председатель склонил голову в знак приветствия. По ходатайству товарища прокурора ее не привели к присяге, и она с милой улыбкой призналась, что принимала участие в этом пикнике. Адвокат Кизелака решил, что пора ему выложить свой козырь.

— Я позволю себе обратить внимание суда на то, что правдивые показания дал только мой подзащитный.

Но Кизелаком никто не интересовался.

Товарищ прокурора высказался в том смысле, что факт подстрекательства доказан и ответственность за преступление, которую молодые люди из рыцарских побуждений хотели взять на себя, должна целиком и полностью пасть на артистку Фрелих.

Адвокат Кизелака воспользовался случаем отметить, что неприятное — с этим он согласен — выступление его подзащитного является неизбежным следствием упадка нравов, к которому приводит молодежь общение с женщинами вроде свидетельницы Фрелих.

— Расковыряли они этот ваш курган или не расковыряли, этого я не знаю и знать не хочу, — непринужденно заметила свидетельница Фрелих. — А насчет упадка нравов, как сказал этот господин, могу только сообщить, что в тот самый день один из молодых людей сделал мне предложение честь по чести, а я отвечала, что мне очень жаль, однако я не могу его принять.

В публике засмеялись. Кое-кто неодобрительно покачал головой. Свидетельница Фрелих высоко вздернула плечи; смотреть в глаза подсудимым она избегала. Густо покрасневший Эрцум вдруг объявил:

— Эта дама сказала правду.

— И уж конечно, — добавила она, — между мной и этими гимназистами ничего такого не было, разве что самые пустяки.

Эти разъяснения предназначались для Гнуса; она украдкой бросила на него быстрый взгляд. Но он не поднимал головы.

— Желает ли свидетельница сказать, что ее отношения с подсудимыми никоим образом не выходили за пределы нравственных норм?

— Ну, «никоим образом» — это уж слишком сильно сказано. — Ее вдруг осенило: давая показания здесь, на суде, она, хоть и окольным путем, во всем признается своему старичку Гнусу. Вечное вранье связано с очень уж докучными и пространными объяснениями. — Я бы не сказала, что никоим образом, но, безусловно, самым поверхностным.

— Что подразумевает свидетельница под «самым поверхностным образом»?

— Вот этого, — отвечала она, указывая на Кизелака, который под устремленными на него взглядами скосил глаза на кончик носа. Он возбуждал все большую антипатию: теперь еще из-за того, что ему так повезло. Правда, он попытался опровергнуть свидетельское показание артистки Фрелих:

— Врет она.

Но председатель уже не смотрел на него. Как и все присутствующие, он пребывал в возбужденном и несколько фривольном расположении духа. Ломан, глубоко уязвленный тем, что Роза заговорила о злосчастном сватовстве его друга фон Эрцума, воспользовался моментом и легкомысленно-светским тоном проронил:

— Что вы хотите, у дамы своеобразный вкус. Она откликнулась на мольбы Кизелака, — кстати сказать, я сегодня впервые об этом слышу. Другой объект ее благосклонности известен шире... Зато она упорно уклоняется от чести стать

графиней. Мне же, никогда не предъявлявшему на нее претензий, она неуклонно заявляет, что я иду у нее в последнюю очередь.

— Точно, — произнесла артистка Фрелих, надеясь, что Гнус это услышит и обрадуется.

В зале засмеялись. Председатель на этот раз буквально закачался в своем кресле, один из судей фыркнул на весь зал и схватился за живот. Представитель обвинения злобно скривил губы, представитель защиты поджал их со скептическим выражением. Эрцум шепнул Ломану:

— Еще и с Кизелаком, ну, теперь точка! Для меня она больше не существует.

— Давно пора... В общем, мы здорово выскочили. А Гнус влип.

— Ты только меня не перебивай, когда я буду говорить, что один натворил всю эту штуку с курганом. Мне все равно не отвертеться от военной службы.

Председатель взял себя в руки и еще раз отечески строгим голосом пригрозил очистить зал. Затем он объявил, что допрос свидетельницы Фрелих окончен, и предложил ей удалиться. Но она предпочла остаться в публике, так как не понимала, куда девался Гнус.

А Гнус улизнул, покуда все покатывались со смеху. Он припустился так, словно его хлестало градом, словно на его пути рушились плотины и вырастали огнедышащие вулканы. Все разваливалось, все увлекало его в бездну, ибо артистка Фрелих «предавалась посторонним занятиям!» Ломан и компания, те, которых Гнус считал давно поверженными и побежденными, возникли из праха, едва только он отвернулся. Артистка Фрелих, не долго думая, вступила с ними в недозволенную связь!

Относительно Кизелака она уже созналась, относительно Ломана пока что отрицала свою вину. Но Гнус ей больше не верил! И растерянность его была безгранична: артистка Фрелих не заслуживает доверия! До сегодняшнего дня, до этого страшного мига, она была частью его самого, и вот нежданно-негаданно от него отделилась; рана кровоточила, Гнус это видел, чувствовал, но не понимал. Поскольку он никогда и ни с кем не был заодно, его никто и никогда не предавал. И сейчас он страдал, как мальчишка, как его ученик Эрцум, и по вине той же самой женщины. Он страдал неумело, некрасиво и недоуменно.

Он пришел домой. Первое же слово кухарки привело его в ярость, и он отказал ей от места. Затем он опрометью ринулся к себе в кабинет, запер дверь, повалился на кушетку и взвыл. Устыдившись, он вскочил и достал свое незавершенное сочинение о партикулах Гомера. Опять он стоял у конторки, которая за тридцать лет так вздернула его правое плечо. Но то один, то другой лист оказывался на обороте исписанным черновиками записок к артистке Фрелих. Нескольких страниц не доставало; по небрежности он отослал их к ней. Внезапно он понял, что его работоспособность целиком зависит от нее, что его воля давно уже подчинена ей и в ней одной сосредоточены все устремления его жизни. Сделав это открытие, он снова забился в угол дивана.

Настала ночь, и из мрака выступило ее лукавое, капризное, пестрое лицо; он всматривался в него со страхом. Теперь он знал, что все, все в этом лице дает пищу для подозрений, — артистка Фрелих принадлежит всем. Гнус закрыл руками лицо, исхлестанное кровавыми пятнами. Поздно пробудившаяся чувственность, чувственность, исторгнутая из высохшего тела, после того как она долго и медленно бродила в нем, и наконец заплывшая неестественным, всепожирающим пламенем, исковеркавшая его жизнь, толкнувшая его на безрассудства, теперь пыталась Гнуса виденьями. Ему виделась маленькая комнатка над «Голубым ангелом», призывные жесты раздевающейся артистки Фрелих, ее дразнящий взгляд. Только сейчас этот взгляд и эти жесты относились не к нему, Гнусу, а к другому, к Ломану... Гнус видел всю картину до конца, до самого конца, и она плясала перед его глазами, потому что он плакал.

Глава двенадцатая

Он продолжал ходить на службу, в силу многолетней привычки к исполнению долга, хотя и знал, что скоро последний раз пройдет по привычной дороге. Учителя, все до одного, точно сговорились его не замечать. В учительской, как только Гнус

усаживался там со своими тетрадами, они прятались за газету, быстро вставляли из-за стола или попросту плевались.

Ломан, фон Эрцум и Кизелак, все трое, гимназии не посещали. Остальных Гнус презирал и предоставлял им полную свободу.

Правда, изредка он еще шипел и приговаривал того или другого ученика к полудневной отсидке в каталажке, но потом забывал сказать педелю{24}, чтобы приговор был приведен в исполнение.

Вдоль улиц он крался, не глядя по сторонам, не слыша ни поношений, ни одобрительных возгласов, и не замечал, когда извозчики придерживали лошадей, чтобы указать на него седокам из приезжих как на городскую достопримечательность. Где бы он ни появился, везде шли разговоры о его процессе. Для всех обвиняемым, собственно, был Гнус, его речь на суде вызвала негодование, смешанное с жалостью. Пожилые господа, выпускники первых годов его педагогической деятельности, у которых с Гнусом связывались нежные, позлащенные временем воспоминания, завидя его, останавливались и качали головами.

— И подумать, во что превратился наш Гнус! Ведь что стал выкамаривать на старости лет!

— Да разве годится учителю так шельмовать мальчишек? Хорош воспитатель юношества! А чего стоят его выпады против купечества, против лучших семейств нашего города! Да еще перед судом! Срам, да и только!

— Уж если в этом возрасте позволяешь себе такие штуки, так, по крайней мере, сиди тише воды ниже травы. В ратуше еще будет обсуждаться вся эта история, и я знаю от Бретпота, что в гимназии его больше терпеть не хотят. Пусть убирается вместе со своей актрисой.

— А девчонка-то первый сорт!

— Что правда, то правда!

Господа посмеивались, при этом у них блестели глаза.

— И как это он сообразил?

— Я же всегда говорю, против такой гнусной клички в конце концов не устоишь, теперь он настоящий старый гнус.

Другие вспоминали его сына, открыто показывавшегося в городе с непотребной женщиной. Говорили, что яблочко от яблони недалеко падает, и, по примеру учителя Гюббенета, утверждали, что нравственное падение отца было неизбежно. Задним числом всем стало ясно, что Гнус всегда был угрюмым, опасным нелюдимом, так что и речи его на суде, направленной против самых уважаемых горожан, удивляться не приходится.

— Этого старого поганца давно следовало прикончить, — изрек при появлении Гнуса табачный торговец Мейер, стоявший в дверях своей лавки, тот самый, чьи счета на имя учителя Нусса всегда начинались с зачеркнутой буквы Г.

Владелец кафе «Централь», заметив однажды утром Гнуса, кравшегося вдоль стены, обратился к кельнерам, которые подметали пол:

— Нравственную нечисть и гнусь тоже надо выметать!

Но нашлись и оппозиционно настроенные горожане; они от души приветствовали эмансипацию Гнуса, видели в нем своего единомышленника, восхищались его враждебным отношением к существующему порядку и устраивали собрания, где обсуждался его смелый выпад против привилегированного сословия. На этих собраниях просили выступать и самого Гнуса. Лозунг устроителей гласил: «Шапки долой перед таким человеком!»

Гнус оставлял без ответа их письменные приглашения, а посланных за ним людей даже не впускал в дом. Он сидел взаперти и с тоской, ненавистью и злобой думал об артистке Фрелих, о том, как заставить ее убраться подальше из их города. Ему вспомнилось, что при первой встрече он именно этого требовал от нее. Если бы она тогда его послушалась! А то вот и вышло, что она натворила уйму бесчинств и бед! Теперь Гнусу в его безграничной мучительной жажде мести единственно желанным представлялось, чтобы артистка Фрелих окончила свои дни в каком-нибудь дальнем и темном чулане.

Днем он тщательно избегал улиц, на которых мог ее встретить. И только ночью, в час, когда за занавешенными окнами пивной уже не могли мелькнуть силуэты учителей с прыгающими челюстями, прокрадывался в ту часть города, где она жила, и робко, исполненный вражды и горькой похоти, кружил возле «Шведского подворья». Однажды из темноты выступил человек и поклонился ему: это был Ломан. Сначала Гнус отпрянул, ловя воздух ртом. Затем растопырил руки, пытаясь схватить в эти клещи Ломана, но тот увернулся. Опомившись и уже твердо стоя на ногах, Гнус зашипел:

— Так вы, негодяй вы этакий, еще смеете показываться мне на глаза! И где? Как раз возле квартиры артистки Фрелих! Опять предаетесь посторонним занятиям!

— Уверяю вас, господин учитель, — мягко возразил Ломан, — вы ошибаетесь. Самым роковым образом ошибаетесь.

— Так зачем же вы здесь околачиваетесь, подлый мальчишка?

— Сожалею, что не могу вам это объяснить, господин учитель. Поверьте лишь, что ваших интересов мое пребывание здесь ни в какой мере не затрагивает.

— Я вас в порошок сотру, — завопил Гнус, и глаза у него засверкали, как у разъяренной кошки. — Будьте готовы к позорному и постыдному изгнанию из гимназии...

— Буду рад, если это принесет вам удовлетворение, господин учитель, — сказал Ломан без всякой насмешки, скорей даже печально, и неторопливо пошел дальше, преследуемый проклятиями Гнуса.

Ему не хотелось издеваться над Гнусом. Теперь, когда на старика обрушилось столько бед, он считал бы это низостью. Он даже испытывал сострадание к этому человеку, грозившемуся выгнать его из гимназии, в момент, когда уже решено его собственное увольнение, — сострадание и даже известную симпатию к старому одинокому человеконенавистнику, против которого восстал весь город, к своеобразному анархисту, неожиданно себя обнаружившему...

Его вечная подозрительность в отношении Ломана и этой Фрелих была жалка и трогательна; а если сопоставить ее с тем, что выгнало Ломана из дому этой ночью, то и полна трагической иронии. Ломан возвращался с Кайзерштрассе. Госпожа Дора Бретпот сегодня вечером разрешилась от бремени. Потаенная нежность Ломана прильнула к ложу страдалницы. Его сердце, этот бесплодно и смиренно тлеющий огонек, жаждало согреть маленькое трепещущее существо, явившееся в жизнь, может быть, благодаря ассессору Кнусту, может быть, благодаря лейтенанту фон Гиршке, а может быть, и благодаря консулу Бретпоту... Сегодня ночью Ломан подошел к дому Бретпотов и благоговейно приложился к запертой двери.

Через несколько дней все нерешенные судьбы определились. Ломану, ничуть в этом не заинтересованному, дозволено было до отъезда в Англию посещать гимназию; у него была слишком влиятельная родня, чтобы всерьез говорить о его исключении. Кизелак своим исключением был обязан не столько истории с курганом, сколько своему недопустимому поведению на суде, но прежде всего — связи с артисткой Фрелих, так бесстыдно ею афишированной и, разумеется, недопустимой для гимназиста-шестиклассника. Фон Эрцум ушел добровольно и поступил в военное училище. Гнус получил отставку.

Ему было предоставлено право до осени не прекращать своей педагогической деятельности. Но он сам по соглашению с местным учебным ведомством решил с нею покончить. В один из первых свободных дней, когда Гнус уныло и праздно — уже до конца своих дней — сидел на диване, к нему пришел пастор Квительнс. Он давно наблюдал, как этот смертный все глубже погрязает в грехах и блуде. Теперь, когда он был уже втопан в прах, пастор Квительнс решил, что пора вернуть заблудшую овцу в лоно церкви.

Закурив сигару, точно обыкновенный посетитель, он стал сокрушаться по поводу бедственных обстоятельств Гнуса — его одиночества, вражды, которую он возбудил к себе в лучших людях города. Так жить невозможно, надо выходить из положения. Если бы Гнус хоть продолжал заниматься своим привычным делом. Отставка, можно сказать, довершила его несчастья, ведь теперь он всецело отдан во власть

горестных размышлений... Сказать «безнадежных» – все-таки будет преувеличением. Ему, пастору Квительенсу, несомненно, удастся восстановить репутацию Гнуса в глазах лучших людей, более того – он наверняка сумеет протащить его в некий политический союз, а также в кегельный клуб. Конечно, при условии, – пастор, видимо, относился к этому условию, как к необходимому злу, ибо в голосе его послышалось сожаление, – что Гнус перед богом и людьми покается в своих прегрешениях и навсегда покончит с ними.

Гнус, собственно, ничего на это не ответил. Предложение пастора его не интересовало. Партия в кегли не могла возместить ему утрату артистки Фрелих. Тогда пастор Квительенс перешел к некоторым обобщениям. Он стал сокрушаться о юношестве, на заре жизни отравленном таким примером; и подумать только, что пример этот подан человеком, призванным быть пастырем юношества. Он имеет в виду не одних шестиклассников, отнюдь нет, и не только гимназистов, но также юношество вне стен гимназии, всех бывших ее питомцев, словом – весь город в целом. Все они – пастор Квительенс даже не замечал, что его сигара потухла, – усомнившись в уроках, преподанных им в прежние годы, не могли не поколебаться и в своей вере в господа бога. Неужели Гнус не боится взять это на свою совесть? Мальчик Кизелах уже попал в беду, и нельзя ведь отрицать, что Гнус несет большую долю ответственности за несчастье сего младенца. Но это, разумеется, не единственное зло, порожденное отступничеством такого человека, как он, от веры, от законов нравственности...

Гнус оторопел. Он впервые слышал о расправе с Кизелаком и в глубине души ликовал оттого, что был причиной его несчастья. Мысль о том, что его пример опасен для других и может посеять зло в городе, тоже ни разу ему в голову не приходила. Перед его взволнованным взором открылись широчайшие горизонты – теперь он отомстит. Лицо у него пошло красными пятнами; затаив дыхание, углубленный в самого себя, он пощипывал редкие волоски на своих щеках.

Пастор Квительенс ничего не понял и обрадовался, что Гнус принял его слова так близко к сердцу. А если вспомнить, из-за кого Гнус вверг себя и других во все эти неприятности, то его faux pas [8] станет самоочевидным.

Гнус осведомился, не имеет ли пастор в виду артистку Фрелих.

Разумеется. Ведь после ее публичных показаний на суде у Гнуса не могли не открыться глаза. Любовь слепа, – тут пастор Квительенс опять раскурил свою сигару, – этого нельзя не признать. Но, с другой стороны, Гнусу полезно будет вспомнить о студенческих годах в Берлине, да, там они оба чего-чего только не насмотрелись. А так как они и сами-то не зевали – хи-хи! – то подобных дамочек знают как свои пять пальцев. И, право же, ради них не стоит калечить свою и чужую жизнь. Да, как вспомнишь Берлин...

Пастор Квительенс блаженно улыбнулся и совсем уже собрался поинтимничать. Гнус, беспокойно ерзавший на диване, внезапно прервал его. Не подразумевает ли пастор под «этими дамочками» артистку Фрелих? Пастор удивился и отвечал утвердительно. Тут Гнус вскочил как ужаленный, зашипел и глухим угрожающим голосом, брызгая в пастора слюной, стал выкрикивать:

– Вы оскорбили артистку Фрелих. Эта дама находится под моим покровительством. Извольте незамедлительно – ясно и самоочевидно – покинуть мой дом!

В испуге пастор подался назад вместе со стулом. Гнус помчался к двери и распахнул ее. Когда он, дрожа от ярости, еще раз подскочил к своему визитеру, тот окончательно перетрусил, рванулся и вместе со стулом вывалился за дверь. Гнус ее захлопнул.

Он еще долго бегал из угла в угол, тяжело дыша. Волей-неволей Гнус сознавался себе, что несколько минут назад призывал все беды на голову артистки Фрелих. Каких только мерзостей он о ней не передумал! Но у него свои права, пастору Квительенсу они не даны. Артистка Фрелих выше пастора Квительенса. Она выше всех – единственная и недосыгаемая перед лицом человечества. Как хорошо, что благодаря пастору к нему вернулась способность правильно оценивать вещи! Артистка Фрелих от него неотделима. Тот, кто не воздает ей должного, наносит оскорбление ему, Гнусу! Трусливая ярость тирана валила его с ног; ему пришлось ухватиться за

первый попавшийся предмет, как в тот вечер, когда публика в «Голубом ангеле» насмеялась над ней. Насмеяться над той, кого он собственноручно гримировал! Посягать на ее искусство, можно сказать – выношенное им! Конечно, она не очень-то хорошо показала себя у кургана гуннов и причинила ему немало страданий! Но уж они как-нибудь сочтутся, он и артистка Фрелих. Сейчас он пойдет к ней, больше он эту встречу откладывать не намерен!

Гнус схватил шляпу, но тут же повесил ее обратно.

Конечно, артистка Фрелих его предала, но, с другой стороны, разве она тем самым не погубила гимназиста Кизелака? И разве это не служит ей оправданием? Пока еще нет! Но если она погубит и остальных гимназистов?

Гнус замер на месте и опустил голову, лицо его стало багровым. Покуда он стоял неподвижно, жажда мести и ревность боролись в нем. Победа осталась за жадой мести. Артистка Фрелих была оправдана.

И Гнус размышлял о гимназистах, которых ей предстояло слубить. Какая обида, что табачный торговец с рынка уже давно окончил гимназию, и торговый ученик, который вместо приветствия строит ему рожи, и многие другие горожане! Артистка Фрелих слубила бы их всех! Их всех со стыдом и позором выгнали бы из гимназии! Другого вида гибели Гнус себе не представлял. Просто не догадывался, что есть катастрофы страшнее вылета из гимназии...

Когда он постучался в дверь артистки Фрелих, она появилась на пороге в пальто и шляпе.

– Хо-хо! Вот и он! А я уж собралась к тебе. Ты, конечно, не поверишь, а вот провалиться мне на этом месте, если я вру.

– Пусть так, – сказал Гнус.

На этот раз она действительно не врала.

После того как Гнус перестал показываться ей на глаза, артистка Фрелих сказала себе: «Нет так нет!» – и приняла решение: в собственную квартиру не перебираться, продать подаренную ей мебель, прожить некоторое время вроде как на ренту, а затем подыскать себе новый ангажемент. Супруги Киперт к этому времени уже уехали из города. Видит бог, она питала самые дружеские чувства к своему старикашке Гнусу. Ну, да ведь насильно мил не будешь! Не хочет – и не надо! У нее была своя философия. Легче обвести человека вокруг пальца после того, как чего-нибудь набедокуришь, чем заставить его верить, когда ты и вправду ни в чем не провинилась. Мало ли что было раньше, а с таким, как Гнус, не вылезешь из вранья; подумать, что он взъялся на нее из-за такой ерунды, как эта история с курганом! Да разве после знакомства с ним она заведет шашни с первым встречным? Ну и, конечно, она ему все-таки не чета. Случается ведь человеку ошибиться, и ничего тут худого нет. На улице иной раз увяжется кто-нибудь за тобой и бежит, а потом решится, обгонит тебя, заглянет в лицо, да и отстанет. Так вот и Гнус, видел ее только со спины, а заглянул в лицо – и конец! Ну что ж, нет – и не надо!

Но время шло, она скучала, деньги были на исходе, и артистка Фрелих решила, что глупо просто так взять и поставить крест на этой истории. Старик, верно, конфузится, дуется и ждет, чтоб она хоть палец ему протянула. Ладно, дело поправимое! Он ведь старый ребенок, упрямый и с придурью. Она засмеялась, вспомнив, как он выставил за дверь капитана и даже поругался из-за этого с Кипертом. Но тут же ее глаза приняли то застывшее, задумчивое выражение, с которым она нередко смотрела на Гнуса. Ясное дело, он ревнив, а ревность внушала ей уважение. Может, он сидит сейчас злющий, как паук, и мучается из-за нее. И желчь у него, верно, разлилась, так что он и есть ничего не может. Вот беда-то! Доброе сердце артистки Фрелих дрогнуло. И она собралась в путь, не только корысти ради, нет, но еще из сострадания и из уважения тоже.

– Давно мы с тобой не виделись, – начала она, хоть и насмешливо, но нерешительно.

– На то имелись свои причины, – произнес Гнус. – Я был – суммирую – занят.

– Ах, вот как! А чем, собственно?

– Увольнением меня из состава педагогического персонала местной гимназии.

– Понятно. Это упрек в мой адрес?

– Ты заслуживаешь оправдания. Ведь гимназист Кизелак тоже удален из гимназии, и тем самым для него навеки закрыты перспективы, открывающиеся перед человеком с законченным образованием.

– И поделом этакому стервецу!

– Теперь остается только пожелать, чтобы аналогичная участь постигла множество других гимназистов.

– А как нам с тобой это устроить? – Она двусмысленно улыбнулась. Гнус налился кровью. В молчанье она ввела его в комнату и усадила. Потом скользнула к нему на колени, уткнулась лицом в его плечо и затараторила шутливо-смирненным голоском:

– Так Гнусик больше не сердится на свою артисточку Фрелих, правда? Ведь в чем я на суде призналась, это все; больше ничего не было. Чуть было не сказала: бог тому свидетель, да разве это поможет. Но ты уж мне поверь.

– Пусть так, – заключил он. И, стремясь к душевной близости с ней, пустился в обстоятельное обсуждение происшедших событий: – Мне – конечно и безусловно – хорошо известно, что так называемая нравственность в большинстве случаев теснейшим образом связана с глупостью. Усомниться в этом может разве что человек, не получивший гуманитарного образования. В нравственности заинтересованы лишь те люди, которые, сами не обладая ею, подчиняют себе людей, попавшихся в ее сети. Я утверждаю и берусь доказать, что от рабских душ следует неуклонно требовать так называемой нравственности. Но это сознание – ясно и самоочевидно – никогда не мешало мне понимать, что существуют общественные круги, управляемые нравственными законами, которые разительно отличаются от нравственных законов пошлых филистеров.

Она слушала – вся внимание – и удивлялась.

– Да неужто? Какие такие круги? Ты не врешь?

– Я сам, – продолжал Гнус, – придерживался этих нравственных традиций филистерства. Не потому, что я высоко их ставил или считал себя неразрывно с ними связанным, но потому что – суммирую – у меня не было повода порвать с ними. Он старался сам подстегивать себя во время этой речи и тем не менее запинался, краснел и сторал от стыда, излагая свое дерзостное мировоззрение{25}.

Она восхищалась его словами и чувствовала себя польщенной тем, что ей, именно ей говорил он все это. Когда же он добавил: «Признаться откровенно, я никак не ожидал, что твой образ жизни окажется согласованным с моим мировоззрением», – она, удивленная и растроганная, состроила гримаску и чмокнула его. Не успела еще артистка Фрелих отвести свои губы, зажимавшие ему рот, как он уже продолжал:

– Что, однако, не помешало...

– Ну, что там еще? Что чему не помешало, Гнусик?..

– ...мне очень страдать в данном конкретном случае, хотя факты, с которыми я столкнулся, казалось бы, отнюдь не противоречили моему мировоззрению. И объясняется это, по-видимому, моим исключительным расположением к тебе.

Она приблизительно отгадала, что он такое хотел выразить, и приблизила к нему лукаво склоненную набок головку.

– Ибо я считаю тебя женщиной, обладанье которой не так-то легко заслужить.

Она стала серьезной и задумчивой.

Гнус заключил:

– Пусть будет так, – но тут же, под натиском страшных воспоминаний, воскликнул:

– Только одного человека я бы тебе никогда не простил, и от него – ясно и самоочевидно – ты обязана воздержаться, его ты больше не должна видеть. Этот человек – Ломан!

Она видела, что он весь вспотел и совсем обессилел, и не понимала, в чем дело, так как ничего не знала о страшном видении, однажды посетившем его, – она в объятьях Ломана.

– Ах да, – заметила она, – из-за этого мальчика ты всегда бесился! И собирался сделать из него котлету. Ну и делай себе на здоровье, милый мой Гнусик, только

на меня не сердись. Меня, ей-богу, такие глупые мальчишки не интересуют. Если б я только могла тебе это вдолбить! Но ты ведь никаких резонов не слушаешь, прямо хоть плачь.

Ей и вправду хотелось плакать, оттого что она сама не верила в свое равнодушие к Ломану, оттого что в глубине души ее все-таки к нему тянуло – недаром ее уверенья звучали неубедительно, – оттого, что Гнус, это неразумное старое дитя, так часто и так неловко касался этого ее чувства, и еще оттого, что в жизни, видимо, не существовало покоя, которого она всем сердцем жаждала. Но так как Гнус не понял бы, отчего она плачет, а ей не хотелось без нужды еще больше запутывать положение, она отказала себе в этом удовольствии.

Вообще же теперь наступила счастливая пора. Они вместе ходили по городу, пополняя обстановку и приданое артистки Фрелих. Каждый вечер в выписанных из Гамбурга туалетах она сидела бок о бок с Гнусом в ложе городского театра. Гнус со сдержанным удовлетворением перехватывал завистливо-возмущенные и злобно-похотливые взгляды, на нее направленные. Вдобавок открылся еще и Летний театр, а значит, можно было сидеть в саду среди зажиточных почтенных горожан, есть бутерброды с лососиной и радоваться, что ближние тебя осуждают.

Артистка Фрелих больше не боялась постороннего влияния на Гнуса. Опасность миновала; из любви к ней он принял унижительную отставку и навлек на себя всеобщее презренье.

Поначалу ей было страшновато. Как это так вышло, размышляла она в тиши, что ради нее человек взвалил на себя столь тяжкое бремя? А потом стала пожимать плечами: «Чудаки эти мужчины!»

Мало-помалу она пришла к заключению, что он был прав, что она стоит этих жертв и даже еще больших. Поскольку Гнус с утра до вечера настойчиво твердил ей, что она вознесена на недостижимую высоту и что человечество недостойно ее лицезреть, она под конец и впрямь стала относиться к себе с сугубым почтеньем. До сих пор никто не принимал ее до такой степени всерьез, а потому и она сама себя всерьез не принимала. Она была благодарна Гнусу за то, что он открыл ей глаза, и чувствовала, что, в свою очередь, должна ценить человека, вознесшего ее столь высоко. Более того, она силилась его полюбить.

Однажды она заявила, что хочет учиться латыни. Он немедленно приступил к занятиям. Во время уроков она его не перебивала, но отвечала невпопад или не слышала вопросов, и только смотрела на него, занятая другими, более важными вопросами, обращенными к самой себе.

– Скажи-ка, Гнусик, что труднее затвердить: латынь или греческий? – осведомилась она на третьем уроке.

– Большинству труднее дается греческий, – отвечал он, и она воскликнула:

– Так я буду учить греческий.

Гнус пришел в восторг и спросил:

– А почему, собственно?

– Потому, мой Гнусик.

Она поцеловала его, и это выглядело как пародия на ласку. А намерения у нее были самые добрые. Он сделал ее честолюбивой, и она ему в угоду пожелала изучать греческий, потому что греческий труднее. Это было любовным признаньем – вернее, предвосхищением такового; она старалась заставить себя его полюбить.

Но любовь к старичку Гнусу давалась ей нелегко. Не легче, чем греческий язык. Она то и дело гладила рукой, словно затем, чтобы привыкнуть, его одеревенелое лицо, трясущуюся челюсть, угловатые глазницы, из которых его глаза злобно косились на весь мир и только на нее смотрели с ребяческой преданностью. Этот взгляд возбуждал в ней состраданье и нечто вроде нежности. Его жесты и слова, нелепый комизм первых и обстоятельная высокопарность вторых – все это ее трогало. Она нередко думала, что он, бесспорно, заслуживает уважения. Но дальше – ни с места.

Чтобы загладить неудачу с чувствами, она иногда старалась на уроках греческого языка собрать все силы своего разума.

Гнус покрывался красными пятнами и, содрогаясь от блаженства, мчался навстречу партикулам. Когда он раскрыл Гомера и она впервые стала читать его, когда эти возлюбленные звуки слетели с премило подкрашенных губок, шевелившихся на пестром лице артистки Фрелих, сердце его затрепетало. Ему пришлось отложить книгу, чтобы прийти в себя. Все еще прерывисто дыша, он взял со стола пухлую и всегда немножко сальную ручку артистки Фрелих и заявил, что впредь ни на одну минуту не желает с ней расставаться. Он намерен сделать ее своею женой.

Сначала у нее задрожали губы, как у человека, который вот-вот заплачет. Потом она прочувствованно улыбнулась, прижалась щекой к его плечу и стала слегка раскачиваться вместе с ним. Это раскачивание перешло в подергиванье; не в силах больше сдерживать своего восторга, она стащила Гнуса со стула и закурилась с ним по комнате.

— Я буду госпожой Гнус! Ей-богу, сдохнуть можно. Госпожа профессорша Гнус — э-э, нет, дудки, Нусс, а не Гнус, молодые люди!

И немедленно изобразила почтенную даму, опускающуюся в кресло. Потом она заговорила вполне разумно: теперь ей не стоит перебираться на новую квартиру, тем более что значительную часть мебели она продала. Она переедет к Гнусу в его дом у городских ворот и там все устроит по-новому. И вдруг опять разразилась смехом. Наконец она успокоилась и только еще задумчиво произнесла:

— Чего-чего с человеком не случается!

Когда он спросил, рада ли она, и посулил, что все это очень скоро сделается, она лишь рассеянно улыбнулась в ответ.

Все последующие дни она казалась ему какой-то отсутствующей. Временами у нее бывал очень озабоченный вид, но она решительно это отрицала. Она часто куда-то уходила и сердилась, когда он хотел идти вместе с нею. Он был убит и чуял какую-то мрачную загадку. В один прекрасный день он столкнулся с нею на улице: она выходила из третьеразрядной гостиницы. Они молча пошли рядом, наконец она таинственно сказала:

— Человек предполагает, а бог располагает.

Он встревожился донельзя, но она ничего ему объяснить не пожелала.

Еще через несколько дней, когда Гнус одиноко и печально тащился по пустынной в обеденный час Зибенбергштрассе, к нему подошла маленькая девочка, вся в белом, и пролепетала:

— Пойдем домой, папа!

Гнус в изумлении остановился, глядя на протянутую к нему ручонку в белой перчатке.

— Пойдем домой, папа, — повторил ребенок.

— Что это значит? — спросил Гнус. — Где ты живешь?

— Там. — И она указала куда-то назад.

Гнус взглянул в этом направлении: на углу стояла артистка Фрелих, умильно склонив головку набок: рука ее, опущенная чуть пониже бедра, казалось, умоляла о прощении и еще о чем-то.

Гнус растерянно задвигал челюстями.

Но тут же все понял и взял протянутую к нему ручку в белой перчатке.

Глава тринадцатая

Семейство выехало на близлежащий морской курорт. Они поселились в лучшей гостинице и получили в свое пользование кабину на взморье. Артистка Фрелих одевалась в белое: белые туфли, легкое белое платье и белое боа из перьев. Она выглядела свежей и воздушной в шляпке с развевающейся на ветру белой вуалью и с белой девочкой, которую вела за руку. Гнусу тоже был куплен белый костюм. Когда они проходили по дощатому настилу вдоль дюн, из всех кабинок на них направлялись бинокли и кто-нибудь из горожан непременно рассказывал приезжим их историю. Если дочка артистки Фрелих играла сырым песком, ей надо было крепко держать свои формочки; едва только одна из них грозила затеряться в песке или быть смытой волнами, как на помощь уже бросался какой-нибудь элегантный господин и вручал ее — не ребенку, но артистке Фрелих. Затем он с поклоном представлялся Гнусу. Таким образом, семейство вскоре по приезде уже распивало кофе в своей пляжной кабинке

в обществе двух гамбургских коммерсантов, юного бразильца и фабриканта из Саксонии.

Эта разношерстная компания совершала прогулки на парусных яхтах, во время которых все мужчины, кроме Гнуса, страдали морской болезнью. Он и артистка Фрелих улыбались друг другу. Девочку с утра до вечера закармливали конфетами, задаривали корабликами, деревянными лопаточками и куклами-гольшами... Все пребывали в наилучшем настроении. Компании полюбились еще и прогулки на ослах, и Гнус, потеряв стремя и уцепившись за ослиную гриву, галопом пронесся мимо раковины для оркестра как раз во время концерта. Артистка Фрелих взвизгивала, девочка восторженно кричала, а гости за столиками обменивались кислыми взглядами и замечаниями.

Когда к этой компании пристал еще берлинский банкир вместе с венгерской танцовщицей, то «шайка Гнуса» заполонила весь курорт; они поднимали невообразимый шум за табльдотом, требовали от капельмейстера исполнения номеров, с которыми, в бытность свою на сцене, выступала артистка Фрелих, по собственному почину устраивали фейерверки, все переворачивали вверх дном, сея вокруг веселость и возмущение.

Гнус был загадкой для всех, кто приближался к нему ради его жены. Он выглядел ряженым в своих английских костюмах, с неприличной жадностью уничтожал дорогие кушанья, как-то раз шлепнулся во время вечеринки с танцами, — словом, впечатление производил самое жалкое, но в то же время комическое и вряд ли мог служить серьезным препятствием. Казалось, он только для того и создан, чтобы оставаться в дураках. И тем не менее поклонник, беззаботно флиртовавший с его супругой, вдруг чувствовал на своей спине его холодный, язвительный взгляд.

Когда Гнус рассматривал браслет, подаренный его жене, у дарителя вдруг появлялось ощущение, что он влип. Он умел так пожелать спокойной ночи, что даже тот, кому удалось во время уединенной вечерней прогулки, пока муж сидел за пуншем с остальной компанией, добиться у жены почти решительных успехов, чувствовал себя осмеянным и сомневался в окончательном достижении цели.

И правда, никто этой цели не достигал. Всех искателей супруг уничтожал и развешивал в глазах артистки Фрелих. Оставшись с ней наедине, он подражал англизированному выговору обоих гамбургцев. Пожимал плечами, вспоминая, как прыгают по воде монеты, которые бразилец бросал в море вместо плоских камешков, передразнивал величавые движения господина из Лейпцига, когда тот закуривал сигарету или откупоривал бутылку. И артистка Фрелих покатывалась со смеху, хотя доводы Гнуса не убеждали ее в том, что все это достойно презрения. Тем более что основной его довод был — греки вели бы себя по-другому. Но она всегда испытывала благодарность к тому, кто давал ей возможность посмеяться. Кроме того, она невольно подчинилась его непоколебимому и в этой непоколебимости почти величественному убеждению, что нет на свете людей, которые бы чего-нибудь стоили по сравнению с ним и с ней. Завороженная его властной силой, она тоже приобрела чувство собственного достоинства и важную осанку. Когда бразилец на уединенном утесе, ломая руки, упал перед ней на колени, она сказала тоном бесстрастного наблюдателя:

— Оказывается, вы обыкновеннейший пустобрех.

А ведь ей было очень лестно, что этот молодой человек, гостивший здесь в семье видных горожан, забросил всех своих знакомых, чтобы гонять с ней по окрестностям и сорить деньгами. Но Гнус заклеил его пустобрехом.

Гнус никогда не расспрашивал, где она пропадала. Он не выказывал беспокойства, когда она одевалась так, что у поклонников дух захватывало от прозрачных тканей и кружев ее летних платьев. Напротив, пока эти господа дожидались ее на улице, Гнус помогал ей наводить красоту и даже гримировал ее, как некогда в «Голубом ангеле». С ядовитой усмешкой он замечал:

— Народ в нетерпении. Надо бы выпустить пианиста, чтобы они успокоились.

Или:

— Если ты сейчас, даже не подкрасив губ, неожиданно высунешь головку в дверь, они загогочат, как тогда.

Отъезд с курорта не обошелся без скандала. На станции собралась вся «шайка Гнуса». Не успел молодой бразилец отойти в сторону, чтобы перекинуться несколькими словами с артисткой Фрелих, как на перрон, прихрамывая и отдуваясь, вышел старый маклер Фермолен, родственник молодого иностранца, и попытался наложить руку на коробочку, которую держала артистка Фрелих. Это был почтительный дар бразильца, только что ею полученный.

Гнус ринулся отстаивать права супруги. Покуда переконфуженный юноша на все лады отрекался от своих родственников, старик Фермолен взволнованно растолковывал чете Гнус, что в их компании племянник давно растратил все свои деньги. Эту брошку он бы уже не мог купить, но, к сожалению, ему удалось выпросить деньги у слабохарактерной тетки; это деньги Фермолена, и потому сделка объявляется недействительной.

На это Гнус спокойно и внушительно возразил, что деньги у господина и госпожи Фермолен, надо думать, общие, что он не намерен вдаваться в подробности семейной жизни господ Фермоленов и, наконец, что уже третий звонок. И, накрепко вцепившись своими серыми пальцами в футляр, другой рукою посадил в вагон артистку Фрелих. Все стали размахивать шляпами, кроме Фермолена – он грозил палкой.

Артистка Фрелих нерешительно пробормотала что-то относительно неприятного происшествия и его возможных последствий. Гнус разъяснил ей неосновательность ее опасений и добавил, что у маклера Фермолена есть сыновья, бывшие его ученики, которых ему ни разу не удалось «поймать с поличным». Фермолены состоят в родстве с многими именитыми горожанами.

Артистка Фрелих успокоилась. Она стала показывать свои украшения девочке, смеялась вместе с ней и говорила:

– Все эти побрякушки я отдам Мими, когда Мими понадобится приданое.

Гнус ликовал, что ученики Фермолены наконец «пойманы с поличным». И начал задумываться: в данном случае для учеников Фермоленов и их широко разветвленной семьи зло не явилось следствием каталажки или исключения из гимназии.

Следовательно, зло – конечно и безусловно – так же, как и большие неприятности, можно чинить не только исключением из гимназии, но и другим путем. Новым путем, ранее ему неизвестным..

Дома, в городе, опять все пошло по-прежнему. Но им не доставало общества. До вечера, когда они отправлялись в театр или в ресторан, артистка Фрелих только и знала что валяться в капоте на диванах. Гнус предложил развлечь ее уроками греческого языка. Она наотрез отказалась. Как-то вечером, сидя в театре, она узнала в актрисе, исполнявшей роль кухарки, свою старую знакомую.

– Ей-богу, это же Гедвиг Пилеман! И подумать, что они ее взяли, таланту у нее ни на грош!

Она рассказала пропасть всяких гадостей из жизни подруги и в заключение добавила:

– Слушай-ка, пусть она к нам придет!

Пилеман пришла раз-другой, и артистка Фрелих, желая пустить ей пыль в глаза, стала потчевать ее изысканными завтраками и ужинами. Теперь на диванах возлежали уже две дамы вместо одной; они курили и предавались давно надоевшим воспоминаньям. Гнуса мучила совесть из-за того, что они скучают. Он чувствовал себя обязанным развлечь их, но не знал как, да и заботы его одолевали. Едва у дверей раздавался звонок, он вскакивал и бросался в прихожую. Дамы заметили, что он никогда не позволял горничной открыть дверь.

– Одно из двух, – решила артистка Фрелих, – либо он готовит мне сюрприз, либо мне изменяет. Мой старикашка – мальч не промах!

В один прекрасный день пришло письмо из Гамбурга от обоих приятелей. Осенью они собираются поехать морем к берегам Испании и дальше до Туниса. Гнус и его супруга непременно должны составить им компанию.

– Что же, – сказала артистка Фрелих, – и это дело. Двинем к дикарям. Ты тоже должна поехать с нами, Пилеман, выпроси себе отпуск. Выкрасимся коричневой

краской, завернемся в простыни, а я еще надена диадему, в которой я выступала, когда была артисткой.

Пилеман не трудно было уговорить. Гнуса вообще не спросили, дамы только удивлялись, что он не выказывает воодушевления. Он отмалчивался, покуда не ушла Пилеман, а затем откровенно признался: у него нет денег.

— Не может быть, — крикнула артистка Фрелих. — Как это так — профессор и без денег!

Гнус смущенно заулыбался. У него имелись сбережения — тридцать тысяч марок. Но они разошлись: меблировка квартиры, туалеты, развлечения. Текущие расходы значительно превышают его пенсию. Гнус выложил на стол перехваченные у дверей письменные напоминания о долгах от всевозможных поставщиков, рестораторов, портных. Задыхаясь от ненависти и унижения, он рассказывал об уловках, к которым вынужден прибегать, чтобы оттянуть приход судебного исполнителя — теперь уже ненадолго.

У артистки Фрелих был испуганный и виноватый вид. Право же, она ничего дурного не думала. Ну, теперь всему этому крышка, а те два дурака могут одни отправляться к дикарям. Сегодня на обед будет только суповое мясо, хотя на кухне уже жарится гусь, на ужин они обойдутся кровяной колбасой; кроме того, она опять начнет учиться греческому языку, так как это всего дешевле. Гнус умилялся и заверял, что он — ясно и самоочевидно — помнит о своей обязанности доставлять артистке Фрелих все, что ей требуется.

— Ах да, — вспомнила она, — бронзовые туфли за полсотенки.

Она немедленно послала Пилеман письменное извещение: «Мы сидим без денег». На худой конец и это было разнообразием.

Пилеман решила: Гнус должен давать уроки.

— Да, но моего мужа здесь все поголовно ненавидят, — заметила артистка Фрелих. Пилеман, гордясь возможностью быть полезной, объявила:

— Я пришлю ему своего друга, пускай общиплет его хорошенько. Я ничего не буду замечать.

— Лоренцена, виноторговца? Ни черта не получится. Это бывший ученик Гнуса, он мне им все уши прожужжал. Он говорит, что против тебя ничего не имеет, но твоего дружка на порог не пустит... А если я даже его уговорю, то Лоренцен сам не захочет с ним связываться.

— Ну, ты меня не знаешь, — возразила Пилеман. — Я поставлю вопрос: или — или. Гнусу было объявлено, что Лоренцену необходим греческий язык, потому что он торгует греческими винами, а следовательно, Гнус должен давать ему уроки. Гнус очень встревожился, но не возражал. Взволнованный, с коварной усмешкой на устах, он заговорил о многочисленных провинностях и попытках к мятежу ученика Лоренцена, который тоже называл его «этим именем», но сцапать Лоренцена Гнусу никогда не удавалось.

— Ну что ж, — вдруг перебил он сам себя, — время еще не ушло. — И обращаясь к жене: — Ты помнишь, душенька, людей, что подняли такой шум при нашем бракосочетании и даже увязались за экипажем...

— Да ладно, — прервала его артистка Фрелих. Ей не хотелось, чтоб он при Пилеман об этом распространялся.

Гнус не дал себя остановить:

— ...банду, которая — опять-таки в свою очередь — бежала за нашим экипажем, дебоширила и предавалась посторонним занятиям у самого подъезда ратуши; помнишь бульжник, который испачкал твое атласное платье, когда ты садилась в карету? Так вот, мне удалось твердо установить, что среди этих головорезов, бесстыдно выкрикивавших мое имя, был и ученик Лоренцен.

— Ну, я ему задам! — вмешалась Пилеман.

— К сожалению, мне не удалось его сцапать, — продолжал Гнус. — У меня не было доказательств. А теперь пусть изучает греческий. Мне многих не удалось сцапать. Пусть бы все занимались греческим.

Лоренцен явился и был благосклонно принят. Под предлогом розысков недостающего карандаша или тетрадки Гнус то и дело призывал артистку Фрелих и умело втягивал

ее в разговор. Сначала ей пришлось похвалиться перед Лоренцем своими познаниями в греческом языке, затем завязалась беседа на более современные темы. Тон у Лоренца был снисходительно-иронический. Мало-помалу он от него отказался, увидев, с какой непринужденной грацией движется среди своей солидной буржуазной мебели артистка Фрелих; она была одета лучше его жены, которая всегда так возмущалась ею в театре, а легкий грим, известная примесь уличного жаргона и небольшая доза комедиантства были, право же, недурной приправой к семейным будням. Ну и ловкач этот Гнус! Его уж, конечно, не тянет ни в клуб, ни в какие-нибудь там значные места. Высокомерие Лоренца по отношению к чете Гнус сменилось липучей угодливостью.

Он испросил разрешения в следующий раз захватить с собой бутылочку-другую вина своей фирмы, заодно принес сладкий пирог, и легкий завтрак заменил урок греческого языка. Когда надо было принести что-нибудь из соседней комнаты, туда отправлялся Гнус. Сначала он ходил за штопором, а потом, когда вино было выпито и ученик Лоренц явно повеселел, за множеством других предметов.

Такие встречи стали повторяться, и артистка Фрелих высказала мысль, что, если бы народу приходило побольше, то, пожалуй, было бы еще веселей. Ученик Лоренц стоял за интимность, но Гнус поддержал супругу. Лоренцу пришлось привести кое-кого из приятелей. Пилеман явилась с товаркой по театру. На мужчин возлагалась обязанность приносить пирожные, закуску, фрукты. Зато хозяйка угощала чаем. Гостей всякий раз тянуло на шампанское, и Гнус замечал со сдержанной усмешкой: — Как вам известно, почтеннейшие дамы и господа, я — заслуженно или незаслуженно, этого мы сейчас обсуждать не будем — выбыл из состава педагогов местной гимназии.

Ему давали договорить и покатывались со смеху. Затем мужчины устраивали складчину и посылали за шампанским. Иногда Гнус отправлялся самолично. В окно они видели шествие — впереди рассыльный с корзиной, а сзади Гнус, добросовестно охраняющий транспорт, как некогда в «Голубом ангеле».

Когда общее настроение уже заметно повышалось, артистка Фрелих снисходила к мольбам и исполняла свои любимые песни; однажды, выпив больше обыкновенного, она запела «Песню о луне». Гнус немедленно ее прервал, а гостям предложил удалиться. Они удивились, заартачились, наговорили дерзостей. Но, увидев, что Гнус пыхтит и никаких доводов не слушает, разошлись. Артистка Фрелих смиренно просила прощения у мужа. Она и сама не знает, с чего это ей взбрело на ум. В гости к Гнусу ходили главным образом молодые люди, завсегдатаи «Голубого ангела». Покуда их было немного, они, не привыкнув обходиться с Гнусом, как со всеми остальными людьми, держались трусливо и нахально, втихомолку над ним потешались, а когда приходилось держать ответ за эти подшучиванья, впадали в ученическое раболепство. В скором времени число гостей приумножилось, и каждый в отдельности стал чувствовать себя непричастным зрителем. Сборища эти больше не носили семейственного характера. Казалось, будто Гнус со своей труппой просто перекочевал в менее обширное заведение, где удобнее общаться с дамами. Вдобавок это заведение закрывалось позднее, и только тогда, когда гости сами решали разойтись по домам. Как-то раз, — была уже ночь и народу оставалось мало, — Лоренц предложил сыграть в баккара. Гнус заинтересовался, потребовал, чтобы ему объяснили правила игры, и, усвоив их, сел метать банк. Он выиграл. А перестав выигрывать, тотчас уступил место банкомета другому. Лоренц в качестве инцистатора счел своим долгом внести в игру большее оживление. Он одну за другой вытаскивал из кармана стомарковье кредитки. Некоторые, войдя в азарт, сожалели, что имеют при себе мало денег. Счастье опять перешло к банкомету. Артистка Фрелих, стоя за спиной мужа, шептала:

— Видишь, видишь? Ну почему ты перестал метать, разиня несчастный?

Гнус отвечал:

— Считаю, душенька, что шляпа за восемьдесят марок уже твоя. А у меня появилась возможность на первых порах заткнуть глотку ресторатору Цербелину. Пока ограничимся этим.

И он спокойно созерцал, как кредитки Лоренцена исчезают в чужих карманах. Важно, что Лоренцен их теряет; Гнус даже запыхался, ему казалось, что путь к триумфу, колеблющийся от легких подземных толчков, уже открылся перед ним. Когда Лоренцен наконец отрезвел и с дурацким видом уставился на свой пустой бумажник, Гнус подошел к нему и сказал:

— На сегодня, Лоренцен, будем считать наш урок греческого языка законченным.

Вскоре по городу поползли слухи, что у Гнусов устраиваются оргии. Мужчины на бирже, в клубе, в торговых конторах и в пивных заслушивались смачных и несколько преувеличенных рассказов своих холостых собратьев. Слабое эхо этих рассказов доносилось до семейных домов, жены шушукались и жаждали подробностей. Что такое этот канкан, который отплясывает Гнусиха? Супруг не отваживался на обстоятельные разъяснения, и дамам рисовались картины невообразимого разврата. А игры, которыми забавляются у Гнусов! Фанты, например. Все рядком ложатся на пол, обязательно мужчина возле дамы, и укрываются по шею большим одеялом. Покуда одеяло не шевельнется, никому дела нет, что под ним происходит, но как только оно зашевелилось, он или она платят фант. Эта игра пленяла воображение всего города. Путанные рассказы о ней дошли до молодых девушек; они часами пытались проникнуть в ее смысл, и глаза их выражали испуг и любопытство. Кроме того, им хотелось дознаться, правда ли, что у Гнусов женщины разгуливают обнаженные до пояса. «Ужас, до чего неприлично!» А все-таки интересно.

Лоренцен привел несколько офицеров, покупавших у него вино для офицерского клуба; среди них лейтенанта фон Гиршке. Ассессор Кнуст был одним из первых представителей избранного бюргерского общества у Гнусов. Он стал яростно оспаривать артистку Фрелих у молодого учителя Рихтера. Рихтер после долгого ухаживания был наконец помолвлен с девушкой из богатого дома, — партия для учителя неслыханно блестящая, но жениховство скверно на нем отзывалось. Он сделался раздражителен, жаждал плотских утех, часто утрачивал свою чиновничью степенность и здравомыслие. Соблазненный примером Лоренцена, он за один вечер у Гнусов проигрывал несколько своих месячных окладов, заключал нелепейшие пари, в пылу настойчивых домогательств забывал о всякой сдержанности с хозяйкой дома. В учительской уже шли недоброжелательные разговоры о его посещениях Гнуса, считавшегося позорным пятном учительского сословия.

Гнус, как и всякий игрок, переживал то падения, то взлеты. Однажды артистка Фрелих получила тысячное манто из шиншиллы{26}, и ее пестрая головка соблазнительно выглядывала из серого пушистого меха. А через несколько дней Гнусу приходилось, заслышав шаги гостей, укладываться в постель, так как ни один ресторатор ему ничего больше не отпускал. Назавтра он отправлялся к озлобленным кредиторам и красноречиво доказывал, что на его катастрофе они ничего не заработают. Возразить против этого довода было нечего, и ему продлевали кредит до нового выигрыша.

Артистка Фрелих редко понтировала, но, сев за карточный стол, прекращала игру, только когда у нее уже гроша за душой не оставалось. Однажды вечером ей повезло так, что ее противнику Лоренцену оставалось лишь очистить поле битвы.. Он побледнел и ретировался, на ходу выкрикивая угрозы. Артистка Фрелих сидела, обессилевшая от счастья, точно ребенок, осыпанный дарами деда Мороза, держа в дрожащих руках груды кредиток и золотых монет. Кавалеры почтительно предложили ей свои услуги по подсчету выигрыша — он равнялся двенадцати тысячам марок.. Она сказала, что хочет спать. А оставшись наедине с Гнусом — глаза у нее лихорадочно блестели, — пролепетала сладким, срывающимся голоском:

— Ну, моя Мими опять с приданым. Мы хоть и загнали мои побрякушки, но теперь к нам все вернулось и Мими не будет такой, как ее мама.

Но уже на следующее утро их дом подвергся штурму кредиторов, почуявших деньги, и хотя артистка Фрелих собственным телом защищала приданое дочки, у нее это приданое вырвали.

В скором времени распространился слух, что виноторговец Лоренцен прекратил платежи. Гнус немедленно помчался собирать сведения; вернулся он весь взмокший,

бледный, не в состоянии слова вымолвить. Наконец, задыхаясь, с трясущейся челюстью, сказал:

— Он обанкротился! Ученик Лоренцен обанкротился.

— А мне какой прок от этого? — отвечала артистка Фрелих; совсем поникшая, она сидела на оттоманке и покачивала руки, опущенные между колен.

— Ученик Лоренцен обанкротился, — повторил Гнус. — Ученик Лоренцен повержен в прах, и ему уже не подняться. Его карьера — ясно и самоочевидно — закончена. Он говорил тихо-тихо, словно боясь взорваться от собственного ликования.

— Мне-то что с того? Приданое Мими все равно ухнуло.

— Наконец-то ученик Лоренцен пойман с поличным. Все-таки мне удалось его сцапать и предать той участи, которую он заслуживает.

Она видела, что он мечется по комнате как одержимый. Дрожащими руками он машинально хватался то за одну, то за другую вещь. Артистка Фрелих продолжала высказывать свои соображения, но он в ответ только шептал трясущимися губами:

— Ученик Лоренцен повержен во прах!

Мало-помалу она стала к нему присматриваться. Его душевный порыв, своей силой значительно превосходивший ее собственные переживания, заставил ее позабыть о них. Она пристальным взглядом следила за мужем, бессознательно испуганная этой страстью, словно из нее вот-вот должно прорваться безумие, и в то же время покоренная ею, еще крепче привязанная к своему старикашке Гнусу благодаря сладостному ужасу, который вызывала в ней эта страсть, эта грозная и хищная сила.

Глава четырнадцатая

В число гостей Гнуса затесалось даже несколько молодых людей, еще не покинувших школьной скамьи. Один из них, долговязый блондин, проигрывал значительные суммы. В самом конце сезона, уже весной, в субботний вечер, Гнус увидел на пороге своего дома учителя Гюббенета, врага, злобно отозвавшегося о его сыне и перед лицом его, Гнусова класса, распространявшегося о «нравственной гнуси, вернее грязи». Теперь он стоит здесь, вызывающе приосанившись, и Гнус встречает его ядовитой усмешкой. Он давно уже ожидал прихода коллеги; ученик Гюббенет играл очень крупно, а значит, в доме учителя не все шло как положено.

Гюббенет, красный как рак, направился к сыну и приказал вконец смешавшемуся юнцу следовать за ним. Затем он, ни к кому в отдельности не обращаясь, присовокупил, что сделает все от него зависящее для устранения порядков, насаждаемых здесь бессовестными авантюристами; порядков, направленных на соблазн и искушение слабовольных молодых людей; порядков, которые поддерживаются воровством у родителей и прочими грязными, даже кровавыми делами.

Какой-то офицер торопливо шмыгнул за дверь. Один сильно обеспокоенный участник пиршества подошел к возмущенному педагогу и вразумительно разъяснил ему, сколь неумно было бы в данном случае поднимать шум. Он считает это собрание подозрительным? Так пусть лучше присмотрится, из кого оно состоит. Видимо, ему неизвестно, кто этот седоватый господин, вон за тем карточным столом у окна? Консул Бретпот. А этот, кто хмуро оглядывается на Гюббенета? Полицмейстер Флад собственной персоной. Неужели Гюббенет рассчитывает, что его бунт против существующего положения вещей увенчается успехом, если такие лица заинтересованы в обратном?

Гюббенет не рассчитывал, это было видно по его лицу. Правда, он проговорил еще несколько слов в Катоновом духе{27}, но уже упавшим голосом; затем он начал отступление. Никто его больше не замечал. Только победоносный и сияющий Гнус побежал за ним, предлагая любезному коллеге освежиться каким-нибудь напитком, а когда тот движеньем плеч указал на разделяющую их моральную дистанцию, гостеприимно крикнул вслед, что двери его дома всегда раскрыты для Гюббенетов, отца и сына.

Снова наступил купальный сезон. На этот раз Гнус и его свита, точно ураган, налетели на маленький приморский городок. Гнусы сняли меблированную виллу. Скромный семейный диван они покрыли японскими вышивками, на столике перед ним

водрузили рулетку, в стаканы с надписью «На память о приморье» полилось шампанское. «Шайка Гнуса» нового набора ночи напролет предавалась картежной игре и распутству, по утрам отправлялась на взморье любоваться восходом солнца, а по воскресеньям завтракала под звуки хоралов, исполняемых курортным оркестром. Многие ночи проводились вне дома. Из уваженья к платежеспособным спутникам артистки Фрелих, приморский ресторатор, равно как и содержатель кафе, гостеприимно распахивал перед нею двери своих заведений в любое время суток. Артистка Фрелих была неистощима на выдумки. День и ночь таскала она за собой свору поклонников; одному бросала палку, чтобы он принес ее обратно, другому – аппетитную косточку и все время лукаво поглядывала на Гнуса, а тот потирал руки от удовольствия. Каждого из своих обожателей она подвергала испытанию. Один из них, жирный и розовый, получил приказ после обеда – кстати говоря, состоявшегося из шести блюд – доплыть до песчаной отмели.

– Бог ты мой, да ведь вас хватит удар, – заметил ему другой, более благоразумный.

Артистка Фрелих его перебила:

– Таких, что собираются получать удар, мне вообще не нужно. Пускай сматывают удочки. Верно ведь, Гнусик?

– Разумеется, – подтвердил супруг, – пусть сматывают. – И добавил: – Ученик Якоби всегда был весьма искусен в гимнастических упражнениях. Так, уже после окончания гимназического курса он перелез через стену, чтобы посредством шланга впустить в окно классной комнаты, где я как раз давал урок, струю прокисшего овечьего молока. В помещении несколько дней стояла вонь. Не сомневаюсь, что он окажется хорошим пловцом.

Эта речь вызвала бурное одобрение, и молодой человек под всеобщий хохот решил подвергнуться испытанию.

Когда он вышел из кабинки, в компании, собравшейся на берегу, стали заключаться пари. Какой он жирный и розовый!

На полпути его подобрала лодка, сопровождавшая заплыв, и в бессознательном состоянии доставила на берег.

Попытки вернуть его к жизни возбудили всеобщее участие. Проигравшие первое пари хотели возместить себе урон и заключали новое – выживет или не выживет Якоби.

Дамы были в страшном напряжении; одна из них забилась в истерике. Прошло пятнадцать минут, а несчастный все еще не двигался; зрители присмирели и стали расходиться. Гнус остался.

Он вглядывался в неподвижные бескровные черты ученика Якоби и воскрешал в памяти это же лицо, насмешливое и непокорное. Якоби был одним из тех. И вот те лежат сраженные, сраженные навек. Их нельзя больше ни победить, ни покорить. У него защемило под ложечкой. Усыпанный розами путь триумфатора чуть-чуть качнулся у него под ногами. На этой безумной высоте у тирана закужилась голова...

Но Якоби открыл глаза.

Оба гамбургца, бразилец и господин из Лейпцига, крайне раздраженно отзывались об этом происшествии. Правда, тут был элемент личной обиды: на них не обращали ни малейшего внимания. Они не понимали, чем это вызвано. Вместо прошлогодней добродушной девчонки перед ними была артистка Фрелих, усвоившая дерзко-повелительный тон признанной красавицы, которой со всех сторон курят фимиам. А ведь до красавицы ей было далеко! Прошлогодние друзья считали это дурацкой комедией, но с каждым днем становились все более активными ее участниками. Сначала бразилец попытался восстановить былую близость; затем научился робко вздыхать на почтительном расстоянии.

Ближе других к цели оказались ассессор Кнуст и учитель Рихтер; у них кошелек был набит всего ту же. Первый был холостяк и едва ли не лучший жених в городе; второй был уже помолвлен. Артистка Фрелих пребывала в нерешительности. Кнуст – личность более почтенная, зато история с Рихтером носила бы широковещательный характер. Его невеста действовала ей на нервы; туалеты этой девчонки здесь, на курорте, побивали туалеты великой артистки Фрелих.

Она потребовала, чтобы в следующую среду Кнуст подошел к первому попавшемуся господину, чье имя взбредет ей на ум, и влепил ему оплеуху. Благодушное, одутловатое лицо Кнуста расплылось в улыбке; он ответил, что с ума еще не сошел. В таком случае между ними все кончено, — заявила артистка Фрелих; тот, кто имеет на нее известные виды, должен ради нее быть готовым на все, на все решительно. Рихтер и был готов на все решительно, до такой степени его измучило жениховство. Однажды под вечер, во время музыки, Рихтер, сидя на осле позади артистки Фрелих и спяна на нее навалившись, прогалопировал мимо изумленной публики, в первых рядах которой находилась его невеста.

Тотчас же после ужина артистка Фрелих, взяв под руки Гнуса и Рихтера, сладким голоском объявила, что сегодня она рано ляжет спать. Ее проводила домой целая процессия с бумажными фонариками; несколько кавалеров спели серенаду под ее балконом. Когда все стихло, Гнус, уже полураздетый, позвал жену. Он думал, что она на балконе. Ничего подобного. Он искал ее, звал; ему хотелось разделить с ней свое торжество, ведь теперь пробил час и коллеги Рихтера; дальнейшая его карьера, слава тебе господи, находится под неотвратимой угрозой. Но в пустых комнатах его ликование развеялось как дым. У него стало нехорошо на душе. Ему был известен ее капризный нрав; не иначе как она пошла на взморье. Гнус уселся возле кровати Мими с поднятой сеткой и стал отгонять от девочки комаров. Опять какой-нибудь простофиля дает себя дурачить артистке Фрелих и радуется возможности обменять свои браслеты и несессеры на часок-другой лунного сияния. Но в глубине души — впрочем, в эти глубины Гнус предпочитал не заглядывать — он знал, что спутник артистки Фрелих — Рихтер и что Рихтер сейчас отнюдь не в дураках.

Гнус ворочался на постели до полуночи. Затем вылез из-под одеяла, торопливо оделся и вслух сказал себе: «Надо разбудить горничную, пусть приведет людей с фонарями; с артисткой Фрелих, чего доброго, стряслось несчастье». Он схватил свечу, направился на чердак, где спала девушка, и уже на самом верху лестницы опомнился, стряхнул с себя самообман, задул свечу, боясь, как бы его не выдал свет, и ощупью вернулся в спальню.

В слабом мерцанье луны перед ним предстала пустая кровать артистки Фрелих. Гнус не спускал с нее глаз, дыханье его становилось все прерывистей. Наконец он весь скорчился и заскулил, но, испугавшись собственного голоса, нырнул под одеяло. Минуту спустя он решил вести себя как мужчина; опять оделся и стал раздумывать над тем, как ему встретить артистку Фрелих. Он решил сказать: «Небольшая прогулка, — ясно и самоочевидно. Подумай, какое совпадение: мне сегодня тоже не хотелось спать, и я только что вернулся». Он с добрый час бегал из угла в угол, репетируя эту речь. Когда у наружных дверей послышался легкий шорох, он как сумасшедший сорвал с себя одежду и бросился в постель. Он прислушивался, судорожно сжимая веки, к приглушенным шагам артистки Фрелих, к осторожному шороху ее падающих юбок, к тихому скрипу кровати, когда она улеглась; потом услышал слабый вздох и, наконец, знакомое милое похрапыванье.

Утром они оба притворялись спящими. Первой решила зевнуть артистка Фрелих.

Когда Гнус повернулся к ней, он увидел страдальческое лицо женщины, которая вот-вот заплачет. Она прильнула к его плечу и, всхлипывая, начала:

— Ах, если бы мой Гнусик знал! Вот уж правда, что человек предполагает, а бог располагает.

— Пусть так, — сочувственно проговорил Гнус, а она еще сильнее заплакала, оттого что он так удивительно добр и удовлетворился ее дурацкой сентенцией.

Целый день они провели взаперти; у артистки Фрелих от истомы все валилось из рук, а глаза ее, подернутые дымкой нежных и сладостных воспоминаний, заставляли Гнуса стыдливо отворачиваться.

Под вечер заглянуло несколько человек из их компании; всех разбирало любопытство, известна ли Гнусам последняя новость. Нет, они даже из дому сегодня не выходили.

— Помолвка Рихтера расстроилась.

Взгляд артистки Фрелих молниеносно обратился на Гнуса.

— Он конченный человек, — оживленно продолжал один из гостей. — Тому, кто так себя скомпрометировал, уже не подняться. Семья его бывшей невесты сумеет позаботиться, чтобы его уволили из гимназии. Они хотят выжить его из города, чтобы меньше было сраму. Пусть отправляется куда глаза глядят.

Артистка Фрелих видела, как порозовело, а потом вновь покрылось бледностью лицо Гнуса; видела, как он переминается с ноги на ногу, сплетает и вновь расплетает пальцы; видела, как он втягивает воздух, словно желая вобрать в себя всю сладость этих слов, высосать из них все счастье. Но и на верху блаженства он страдал.

На сей раз ему пришлось платить за свой триумф; не без угрызений совести читала она на его лице чувства, которыми он расплачивался.

Когда он наконец вышел из комнаты, она, выдумав какой-то предлог, покинула гостей и скользнула за ним.

— Ты рад? — спросила артистка Фрелих с притворным недовольством. — Но ведь это же свинство радоваться, что человек вляпался в такую беду.

Гнус сидел на балконе, стиснув руки и вперив отсутствующий взгляд в море, видневшееся сквозь листву буков; казалось, он всматривается в бескрайние горизонты, путь к которым лежит через бездны мук. Артистка Фрелих что-то смутно почуяла; теперь настал ее черед утешать страдальца.

— Ничего особенного не случилось, Гнусик. Главное, что ему как-то. Ты ведь этого хотел.

Она вздохнула, ибо, вспомнив о том, что было несколько часов назад, почувствовала себя неблагодарной по отношению к бедняге Рихтеру. И как, собственно, все это случилось? Рихтер обходительный, приятный кавалер, но если бы не Кнуст, которому ей хотелось насолить, ни до чего бы у них не дошло. Ну, да черт с ним! Вот Гнус — другое дело. Ей-богу, от него иногда прямо жуть берет. С каким видом он сидит и смотрит на нее!

— Ладно, мы ведь на пару постарались. — И она протянула ему руку.

Он взял ее, но при этом изрек:

— Одно мне уяснилось: тот, кому дано взобраться на сияющие вершины, должен пройти через страшные разверстые бездны.

Глава пятнадцатая

Они вернулись в город, где их ждали с нетерпением. В клубе холостяки говорили:

— Слава тебе господи, теперь скуке конец.

На следующий день после приезда Гнусы уже принимали гостей, и в городе только и разговоров было: кто явился первым, что подавали на ужин, какой обновкой блеснула артистка Фрелих. В последующие вечера женатые коммерсанты стали получать неожиданные известия: то что-то стряслось в гавани, то в конторе оказалось срочное дело, и они поспешно уходили из дому.

Нашлись, конечно, и такие, что к Гнусам не заглядывали: в силу своих моральных убеждений, либо холодного темперамента, либо из бережливости. Зевая, сидели они в пустом казино или в Обществе поощрения искусств; сначала они негодовали, потом, когда их можно было пересчитать по пальцам, — изумлялись, а последние блюстители нравственности и вовсе почувствовали себя в дураках.

Городской театр продолжал существовать только благодаря доброхотным даяниям.

Порядочного варьете в городе не было. Пять или шесть дам полусвета, имевшихся к услугам высокопоставленных господ, надоели им до одури, а радости, которые они могли предложить, при мысли о доме Гнуса и его хозяйке казались невыносимо пресными.

В этом старомодном городе, где от безысходной скуки добропорядочной семейственности можно было спастись разве что грубым и не менее скучным развратом, дом у городских ворот, в котором крупно играли, пили дорогие вина, встречались с женщинами, не совсем уличными, но и отнюдь не матронами, дом, хозяйка которого, замужняя дама, супруга учителя Гнуса, пела соленые песенки, непристойно танцевала, а если умело к ней подойти, не отказывалась и от других утех, — этот удивительный дом у ворот постепенно окутывался сказочной дымкой,

мерцающим серебристым сиянием, какое окружает замки фей. И надо же такому случиться! Каждый вечер мысли горожан уносились к дому Гнуса. Кто-нибудь из знакомых при встрече торопливо шмыгнет за угол, пробьют часы на башне — и каждый думает: «Сейчас там начнется». Горожане ложились в постель усталые, сами не зная, откуда взялась эта усталость, и вздыхали: «А там самый разгар веселья». Конечно, считанные джентльмены, вроде консула Ломана, который провел молодость за границей, в Гамбурге чувствовал себя как дома и время от времени наведывался в Париж и Лондон, не проявляли ни малейшего интереса к приемам, дававшимся старым полоумным учителем и его молодой женою. Но жители пригородов, торговцы рыбой и маслом, в продолжение тридцати лет ни разу не высунувшие носа за пределы пяти-шести городских улиц, неожиданно-негаданно нашли блистательное применение своим деньгам. Какая великолепная награда за долгие труды! Теперь они знают, для чего жили на свете. Другие, побывавшие в больших городах и чувствовавшие, что на родине им все понемногу приелось, — к таким принадлежал и консул Бретпот, — поначалу решали довольствоваться малым, а потом входили во вкус и уже ни о каких сравнениях не помышляли. Бывших студентов, как, например, судей на процессе о кургане или пастора Квительенса сюда приводили сентиментальные воспоминания о веселых кельнершах из студенческих кабачков. Пастор Квительенс в конце концов тоже был не хуже других. Горожанам помелкотравчатей, вроде владельца кафе «Централь» или владельца табачной лавки на рынке, льстило общение со сливками общества: в доме Гнуса они, казалось, поднимаются на высшую ступень социальной лестницы. Таких здесь было большинство, именно они задавали тон.

А тон был очень уж вульгарный. Только этим он и был плох. Все эти люди пребывали в ожидании необыкновенных двусмысленных изысков какого-то неслыханного промежуточного состояния, когда любовь не выдается сполна, а между тем никому не скучно. Но как раз присутствие этих людей и придавало веселью достаточно определенный характер.

Если они не вели себя добродетельно, как в своей семье, то вели себя низкопробно, как в публичном доме. Иначе у них не получалось. Сначала они, конечно, старались, но выпив, а то и проигравшись, начинали разговаривать по-своему, «тыкали» дам, переругивались. Это отзывалось и на манерах представительниц прекрасного пола. Они привыкли к разнузданности. Пилеман стала неузнаваема. Фантазия ее так разыгралась, что однажды, пробыв наедине полчаса с одним из гостей, она велела целой компании подвыпивших мужчин с барабанным боем провожать ее в комнату, где шла картежная игра. Артистка Фрелих была вынуждена признать, что в прошлом сезоне Пилеман не решилась бы отмочить такую штуку. Сама артистка Фрелих в какой-то мере продолжала соблюдать внешние приличия. Разумеется, она-то имела дело только с избранными, возможно — с консулом Бретпотом да еще, пожалуй, с ассессором Кнустом: в точности это никому не было известно. В ее доме за ней ничего такого не замечалось. Как настоящая дама, артистка Фрелих для своих прелюбодеяний использовала весь арсенал предосторожностей: двойные вуали, экипажи с занавешенными окнами, свиданья за городом. Все эти церемонии делали ее рангом выше, и никто бы не решился поставить ее в ряд с другими дамами хотя бы уже потому, что никому не было достоверно известно, кто в данный момент ей покровительствует и какова мера его терпенья. Приходилось считаться и с тем, что Гнус вообще ничего бы не потерпел. Однажды, находясь в самом мирном настроении, он вдруг накинулся на какого-то господина, случайно обронившего за его спиной замечание относительно хозяйки дома. Гнус шипел, брызгал слюной, не слушая никаких оправданий, и после жаркой схватки вытолкнул за дверь рослого, тучного человека; несчастный был изгнан навеки. А это был крупный игрок, сказанное же им об артистке Фрелих, несомненно, было самым безобидным из всего, что можно было о ней сказать. Итак, зная, чего можно ждать от Гнуса, когда дело касалось артистки Фрелих, все соблюдали осторожность.

В остальном можно было устраивать любую кутерьму: Гнуса это не трогало. Он потирал руки, когда кто-нибудь, а отнюдь не он сам, срывал банк и от стола поднимались истомленные жаждой наживы, потные, ошалелые лица и глаза,

бессмысленно уставившиеся в пустоту. Он благосклонно взирал на мертвецки пьяных, проигравшимся в пух и прах злорадно желал всяческого благополучия, иронически усмеялся, когда какую-нибудь парочку заставляли на месте преступления, и переживал мгновенья подлинного счастья, узнав, что кто-нибудь из его гостей обещен. Один молодой человек из хорошей семьи попался в нечистой игре. Гнус действительно потребовал, чтобы его не выгоняли. Разразилась буря возмущения, многие в знак протеста удалились. Спустя несколько дней они явились снова, и Гнус, ядовито усмехаясь, предложил им сыграть с молодым шулером.

Другое происшествие носило еще более драматический характер. У одного из игроков пропала пачка банкнотов, лежавшая перед ним на столе. Он поднял крик, потребовал закрытия всех дверей и поголовного обыска. Гости этому воспротивились, начали ругаться, грозилась избить потерпевшего; в течение пяти минут все без исключения подозревали друг друга. Но вот шум перекрыл замогильный голос Гнуса. Гнус брался назвать тех, кого следует подвергнуть обыску; согласны ли присутствующие действовать по его указаниям? Разгорелось любопытство; кроме того, каждый желал показать, что он вне подозрений, и все закричали «да!». Тогда Гнус, по-гусиному вытягивая и втягивая шею, назвал лейтенанта фон Гиршке, Кизелака и консула Бретпота. «Бретпота? Бретпота?» Да, Бретпота. Гнус стоял на своем, воздерживаясь от каких бы то ни было разъяснений. А Гиршке, офицер? Это еще ничего не доказывает, — утверждал Гнус. Разъяренному же лейтенанту, приготовившемуся к обороне, назидательно заметил:

— Большинство против вас, и они вас обезоружат. Отдав саблю, вы будете обещены, и вам останется только пистолет — ясно и самоочевидно, — чтобы пустить себе пулю в лоб. По-моему, уж куда веселей подвергнуться обыску. Поставленный перед таким выбором, Гиршке покорился. Гнус ни в малейшей мере не подозревал его; он просто хотел втоптать в грязь его гордость. Впрочем, в эту самую минуту поймали Кизелака; он пытался выбросить в окно пресловутую пачку банкнотов. Консул Бретпот незамедлительно призвал Гнуса к ответу. Но тот, вплотную к нему приблизившись, неслышно для других шепнул одно имя, только одно имя, и Бретпот утихомирился... Он пришел на следующий день и снова сел играть. Фон Гиршке не появлялся в течение целой недели... Кизелак зашел разок и сделал безуспешную попытку отыграться. Несколько дней спустя в податное ведомство, где Кизелак занимал скромную должность, пришла его бабка и заявила, что внук ее обокрал. Наконец-то его можно будет уволить. Скандал за карточным столом не был достаточным поводом. Гимназист Кизелак очутился на дне. Гнус торжественно это отметил, — про себя, конечно.

Он наслаждался с коварной сдержанностью. Среди этой толпы, взапуски несущейся к банкротству, к позору, к виселице, невозмутимый Гнус со своей ревматической походкой был все тем же старым учителем, который из-под очков следит за разнузданным поведением класса и мысленно отмечает имена зачинщиков, чтобы впоследствии снизить им годовую отметку за поведение. Они осмелились возмутиться против власти тирана и вырвались на свободу, так пусть же теперь наминают друг другу бока и шеи. Тиран превратился в заядлого анархиста.

Он явно тщеславился приливом новых сил и восхищался почти юношеским цветом своего лица. Двадцать раз на дню он вытаскивал карманное зеркальце, вправленное в коробочку с надписью «bellet»{28}.

По ночам, среди шума, сутолоки и безобразий, он часто вспоминал свои прежние ночи. Осмеянный в кафе «Централь», он плетется домой. Из какого-то темного закоулка в него, словно ком грязи, швыряют «это имя»... Была только одна-единственная ночь, когда он чего-то хотел от людей. Хотел, чтобы они ему сказали, кто такая артистка Фрелих, где ее найти и как — это было самое важное — помешать ей вступить в связь с тремя гимназистами, из которых самым отпетым был Ломан. И ни один человек ему ничего не открыл. Он встречал только ухмыляющиеся лица под шляпами, которые никто даже не трудился приподнять. Он прыгал из стороны в сторону среди самокатов, с грохотом несущихся под горку, и визгливые детские голоса на все лады выкрикивали «это имя». Пробираясь мимо ярко

освещенных витрин, он уже не решался заговорить ни с одним из бунтовщиков; он крался мимо домов, скрывающих в своих недрах пятьдесят тысяч смутьянов, и голова у него стыла в предчувствии, что на нее из какого-нибудь окна, словно ушат помоев, выплеснут «это имя»! Спасаясь от непрестанно терзавших его нервы преследований, от издевательств и насмешек, он добежал до приюта для престарелых девиц, находившегося в самом конце захолустной, тихой улочки; летучие мыши вились вокруг его шляпы, и даже здесь, даже здесь боялся он услышать «это имя». «Это имя»! Теперь он сам себя так величает, носит его, как венки победителя. Одного до нитки обобранного гостя он похлопал по плечу и сказал:

— Да, да, я самый настоящий гнус.

Гнусовы ночи! Вот каковы они теперь. Его дом освещен ярче других, взоры всех горожан прикованы к этому роковому дому. Сколько страха, алчности, подобострастия, сколько фанатической жажды самоистребления разжег Гнус вокруг себя! Повсюду дымятся жертвенники. И люди спорят за право возжечь их, за право самозаклания. Их толкает сюда невежество, тупость, свойственная тем, кто не получил гуманитарного образования, дурацкое любопытство, сладострастие, едва прикрытое моралью, жажда наживы, похоть, суетность, сплетение самых различных интересов. Разве не его, Гнуса, кредиторы тащат сюда своих родичей, друзей, клиентов, чтобы вновь сделать его платежеспособным должником? Разве не корыстные жены посылают сюда своих мужей, в надежде, что и они схватят хоть одну из носящихся в воздухе кредиток? Другие являются по собственной воле. Ходят слухи, что на маскараде в доме Гнусов под масками скрывались порядочные женщины. Озабоченные мужья будто бы шныряли в толпе, разыскивая своих жен. Молодые девушки перешептывались о том, что матери куда-то исчезают по вечерам, не иначе как в «дом у городских ворот», и вполголоса мурлыкали отдельные фразы из песенок артистки Фрелих. Эти песенки втихомолку распевал весь город. Таинственная игра в фанты, когда пары ложились на пол под одеяло, проникла в семейные дома; ее затевали даже барышни на выданье, к которым родители приглашали молодых людей на вечеринку с танцами. Молодежь хихикала, обмениваясь мнениями о «доме у ворот». Еще до наступления лета три дамы из лучшего общества и две молодых девушки внезапно и, как утверждали их добрые знакомые, весьма преждевременно выехали за город. Произошло три новых банкротства. Мейер, владелец табачной лавки на рынке, подделал векселя и удавился. Пошел шепоток и о консуле Бретпоте...

Этот разврат, охвативший целый город и никем не останавливаемый, потому что слишком много было соучастников, исходил от Гнуса и творился во имя его торжества.

Страсти, втайне потрясавшей его иссохшее тело и прорывавшейся наружу разве что в ядовито-зеленом поблескивании глаз и легкой усмешке, этой страсти подчинился весь город. Гнус властвовал и мог бы быть счастлив.

Глава шестнадцатая

И он был бы счастлив, если бы власть его еще укрепилась, если бы в решительную минуту жизни, всецело посвященной человеконенавистничеству, он не предался артистке Фрелих. Артистка Фрелих была оборотной стороной его страсти; он хотел все отнять у других и отдать ей. Она заслуживала только забот и внимания, тогда как все другие заслуживали уничтожения. На ней сосредоточилась вся нежность человеконенавистника Гнуса. Для него это было плохо; он и сам это знал. Он говорил себе, что артистка Фрелих, собственно, только капкан для поимки гимназистов и орудие их последующего истребления. Но вышло так, что перед лицом человечества она стояла рядом с Гнусом, священная и недосыгаемая, а он был вынужден любить ее и страдать от своей любви, бунтующей против служенья ненависти. Любовь Гнуса была посвящена защите артистки Фрелих и ради нее шла даже на грабеж: это была истинно мужская любовь. Но тем не менее и такая любовь привела к слабости...

Случалось, что по возвращении домой артистки Фрелих он прятался и до вечера не показывался ей на глаза. Она вела с ним переговоры через дверь щебечущим и сострадательным голосом. Но он даже к ужину не выходил. Надо же вернуться к научным трудам. Она дружески предостерегала, как бы такая усидчивая работа не

отозвалась на его здоровье, и затем со вздохом решала переждать, пока кончится приступ. Наверно, он опять перетряхнул весь ее гардероб и рылся в ее грязном белье. А может быть, сегодня утром ему попала на глаза записка. В таких случаях на него находило умопомрачение, он не мог больше видеть ее измятое лицо; красный от стыда, бессмысленно тыкался во все углы и, наконец, удалялся. А она расстраивалась! Ну уж, конечно, так совсем, совсем всерьез она его выходки принимать не могла. Для этого она сама слишком много играла. Во-первых, играла замужнюю даму: иначе она к своему браку относиться не умела. Как она тогда подослала к старикашке Гнусу свою Мими – вот это было здорово, хоть и страху она натерпелась немало. А вся эта возня с мужчинами, все эти фигли-мигли, куда не дойдет до дела, это вечное притворство – только бы Гнус не узнал, а Гнус все знал не хуже ее самой. Она была очоь благодарна за то, что он подыгрывал ей в этой комедии и разводил столько церемоний из-за ее постоянных интрижек. Не то бы – с тоски пропасть! Смешно только, что он не мог привыкнуть... А ведь он был во всем этом заинтересован больше, чем она сама. Временами он бывал как одержимый – такая его обуревала жажда уничтожить того или иного. Он просто сторал от нетерпенья. «Рекомендую тебе ученика Фермолена. Обрати внимание – опять-таки – на ученика Фермолена». Что это должно было обозначать? Тут и спрашивать нечего. А как он приставал, чтобы она поскорее управилась с консулом Бретпотом! Артистка Фрелих пожимала плечами.

Гнус, подхваченный вихрем страсти, стихийным, как звездопад, был ей непонятен. Любовь, которой он ежедневно наносил раны для того, чтобы питать свою ненависть, разжигала эту ненависть в неукротимое пламя. Ненависть и любовь, взаимодействуя, становились безумными, всепожирающими, страшными. Гнусу мерещилось измученное, молящее о пощаде человечество; потоки крови, его город, разрушенный и обезлюдивший; груды золота, испепеленные светопреставленьем.

Затем его снова мучила галлюцинация – артистка Фрелих, любимая другими. Картины чужих объятий душили его: в этих видениях у всех мужчин было лицо Ломана! Все наихудшее, все самое ненавистное навеки слилось для него в чертах Ломана – ученика, так и не пойманного с поличным, более того – исчезнувшего из города. После таких приступов бессильного отчаяния им овладевало состраданье к себе и к артистке Фрелих. Он принимался утешать ее, сулил, что скоро все это кончится, что они уедут отсюда и будут спокойно жить на то, «чем эти люди вынуждены были для тебя поступиться».

– А много это, по-твоему?... – раздраженно спросила она однажды. – Ты помнишь только то, что мы от них получаем. А сколько они у нас отбирают назад – это у тебя из головы вон. Разве не из-за них у нас вывезли мебель? А за теперешнюю мы еще ни одного взноса не сделали, заруби это себе на носу. Нашего здесь только подушка на диване да рама на той идиотской картине – вот тебе и весь разговор! Артистка Фрелих быда в злобном настроении; устав от вечной погони за мужчинами, она потеряла вкус к жизни и теперь срывала свою злобу на том, кто был у нее под рукой. Но Гнус воспринял ее слова с полнейшей серьезностью.

– Моя обязанность заботиться о твоём благе. И я докажу, что умею справляться со своими обязанностями... Они мне за все заплатят, – вдруг прошипел он.

Но она его не слушала и, в раздражении ломая руки, металась из угла в угол.

– Надеюсь, ты не думаешь, что я веду эту дурацкую жизнь тебе в угоду; плевать мне на то, расправишься ты со своими оболтусами или нет. Если бы не Мими... для Мими я должна зарабатывать. Не хочу, чтоб она жила, как ее мать. Ах, боже ты мой...

Она притаскивала девочку в белой ночной рубашонке и закатывала истерику. Гнус сидел как в воду опущенный. Потом его отсылали, и артистка Фрелих укладывалась в постель. К приходу гостей она уже снова была на высоте; старалась загладить свою вину перед Гнусом, ласкалась к нему; то и дело отзывала его в сторонку и что-то ему шептала – пусть гости видят, что он все равно остается для нее самым главным; высмеивала вместе с ним как раз тех господ, которые могли быть у него на подозрении; любыми способами старалась внушить ему, что ничего серьезного тут не было. В такие минуты он льстил себя безумной надеждой, что достиг всего, чего

добивался, ничем за это не заплатив. В глубине души он в это, конечно, не верил, но убеждал себя, что можно поверить, ибо нет никаких доказательств противного. Ведь надо же было вздохнуть после перенесенных мучений.

В ясный весенний день, первый ясный день после всех тревог и терзаний, Гнус и артистка Фрелих вдвоем отправились в город. Гнус наслаждался сознанием, что, как бы там ни было, а они все-таки союзники: избранные, единственные. Артистка Фрелих, вместе с уроками греческого языка отказавшаяся и от честолюбивых попыток полюбить мужа, черпала самоуважение и ясность духа в искренне дружеском чувстве к нему. Поэтому оба они только улыбнулись, когда господин Дреге, бакалейщик, при их приближении распахнул двери своей лавки, стал грозить им кулаками и выкрикивать вслед какие-то бранные слова. Завидев их, торговка фруктами тоже вышла из равновесия. Она даже пыталась уговорить господина Дреге, чтобы он направил на чету Гнусов струю из шланга для поливки. Последнее время такие инциденты неизменно сопровождали появление этой четы на улицах. Они всем кругом задолжали, хотя швыряли деньги направо и налево; и громче всех, конечно, вопили поставщики, чуть не силком навязавшие им кредит. Как правило, выписанные из Парижа туалеты артистки Фрелих были оплачены вперед, а булочки, съеденные в прошлом месяце, еще не являлись законной собственностью супругов. При этом артистка Фрелих считала, что экономит для своего ребенка, а Гнус — что грабит для артистки Фрелих. Каждый визит судебного исполнителя — всегда безрезультатный — вызывал в доме Гнусов ярость, отчаяние и уныние. Ну кто бы мог подумать, что он опять явится! Артистка Фрелих давно уже потеряла представление о своих счетах и долговых обязательствах. Гнус заботился о причинении убытков другим, а не о поддержке собственного благосостояния. Разложение, которое они вносили в дела других, перекинулось и на их собственные. Обманутые и загнанные в тупик, они тешили себя зыбкой надеждой на неправдоподобно крупный выигрыш или на внезапную кончину всех кредиторов. Втайне они чувствовали, что почва колеблется у них под ногами, и в последние свои минуты старались учинить как можно больше зла. На Зибенбергштрассе им пришлось выдержать сцену с мебельщиком; он утверждал, что они перепродали часть еще не оплаченной мебели, так ли это. Артистка Фрелих вмешалась: — Можете распрощаться с вашими надеждами, — мы, знаете ли, тоже себе на уме. Тут возле нее послышался звон сабли. Она вздрогнула и быстро отвела глаза.

Какой-то голос громко произнес:

— Черт подери!

И другой удивленно, но небрежно:

— Вот так встреча!

Артистка Фрелих больше не слушала, что говорит мебельщик. Минуту спустя она повернулась к нему спиной и пошла дальше, но уже неуверенной и шаткой походкой. Только поравнявшись с кондитерской Мумма, она обратила внимание на то, что Гнус молчит. Ощувив нечто вроде укора совести, она зашебетала, стараясь утешить его после того, что они сейчас видели. На душе у него потеплело, и он предложил ей зайти в кондитерскую. Пока он заказывал что-то у стойки, она прошла в соседнее помещение. Тут послышался стук в окно. Из предосторожности она не подняла глаз; впрочем, она и так знала, что это снова Эрцум и Ломан.

Гнус даже вечером не мог успокоиться. Он шмыгал среди гостей, отпускал иронические и нелепо-злые замечания, твердил: «Я подлинный гнус», — и пояснял:

— Моего здесь — что правда, то правда — только подушка на диване да рама вон той картины.

Когда артистка Фрелих на минутку забежала в спальню, он пошел за нею и возвестил:

— Ученик Бретпот в ближайшее время своего добьется.

— Крышка? — спросила она. — Да нет, Гнусик, он опять набит деньгами.

— Все может быть. Но откуда он берет эти деньги, — вот вопрос, заслуживающий самого досконального рассмотрения.

— Ну, а дальше—то что?

Он вплотную подошел к ней с вымученной, казалось, через силу пробившейся наружу улыбкой.

— Мне все известно, я подкупил его кассира. Это деньги Эрцума, опекун обкрадывает своего подопечного.

Артистка Фрелих остолбенела от изумления, а он продолжал:

— Ловко, ничего не скажешь. Да, стоит еще жить на свете. И так, уже второй из трех. Ученик Кизелак повержен и растоптан. Ученик фон Эрцум уже трещит и скоро рухнет. Остается еще только третий.

Она не выдержала его взгляда и крикнула в смятении:

— Да о ком ты толкуешь? Я не пойму.

— Третий еще подлежит поимке. Он должен быть и будет пойман с поличным.

Она робко на него поглядела и вдруг заговорила вызывающим тоном:

— Это, наверно, тот, что тебе поперек горла встал; мне даже посмотреть в его сторону нельзя, — ты сразу на стенку лезешь.

Он понурил голову и часто задыхался.

— Я, конечно, не расположен... — глухо проговорил он. — И тем не менее этот ученик должен быть пойман. И будет.

Она передернула плечами.

— Что ты глаза таращишь? У тебя, верно, жар. Тебе, Гнусик, надо лечь в постель и хорошенько пропотеть. Я велю тебе сварить ромашковый настой. Очень уж тебя разбирает, смотри — перекинется на желудок, а тогда... раз — и нету человека. Ты слышишь, что я говорю?... Ей-богу, как бы беды не приключилось.

Гнус ее не слушал. Он сказал:

— Но не ты, не ты его поймаешь!

Он проговорил это с отчаянной мольбой, какой она никогда не слыхала в его голосе; от зловещего предчувствия мурашки пробежали у нее по спине. Так ночью просыпается человек от бешеного стука в дверь его спальни.

Глава семнадцатая

На следующее утро артистка Фрелих долго ломала себе голову, за чем бы ей отправиться в город, и когда ее наконец осенило, немедленно вышла из дому. Она косилась на свое отражение во всех витринах: ведь сегодня два с половиной часа было потрачено на туалет. Сердце ее торопливо билось в ожидании. В начале Зибенбергштрассе она остановилась у лавки книготорговца Редлина — первый раз в жизни смотрела в окно книжного магазина, — склонилась, рассматривая книги, и в затылке ощутила какое-то щекотанье, словно вот-вот кто-то до нее дотронется.

Вдруг сзади послышался голос:

— И так, мы снова встретились, сударыня.

Она постаралась обернуться с медлительной грацией.

— Ах! Господин Ломан! Вот вы и опять в родных краях.

— Надеюсь что вам это не неприятно, сударыня.

— Нет, почему же? А куда вы девали своего приятеля?

— Вы говорите о графе фон Эрцуме? Ну, у него своя дорога... Не пройтись ли нам немного, сударыня?

— Вот как! А что нынче поделывает ваш приятель?

— Он авантюжер{29}. Теперь приехал сюда в отпуск.

— Ах, что вы говорите? И что, он все так же мил?

Подумать только, что Ломан остается спокойным, хотя она все время спрашивает о его друге. Ей даже показалось, что он над нею подсмеивается. Впрочем, ей это казалось еще в «Голубом ангеле». Ни один человек, кроме Ломана, не наводил ее на такое подозрение. Артистку Фрелих бросило в жар. Ломан предложил ей зайти в кондитерскую. Она с досадой ответила:

— Ступайте один! Я спешу.

— Для зорких глаз провинциалов мы, пожалуй, слишком долго стоим на этом углу, сударыня.

Он распахнул дверь, пропуская ее вперед. Она вздохнула и вошла, шелестя юбками.

Он слегка замедлил шаг, дивясь, как это платье красиво подчеркивает ее длинную

талию, как хорошо она причесана, как изящно и небрежно управляется со своим шлейфом, как вообще не похожа на прежнюю Розу Фрелих. Потом он заказал шоколад. — За это время вы стали здесь весьма известной особой.

— Пожалуй. — Она поспешила перевести разговор: — А вы? Что вы все это время подельвали? И где вас носило?

Он с готовностью стал рассказывать. Сначала он учился в коммерческом училище в Брюсселе, затем проходил практику в Англии, у одного из старых клиентов отца.

— Ну и здорово же вы, наверно, веселились, — заметила артистка Фрелих.

— Нет! Я не охотник веселиться, — сухо отвечал Ломан, и на лице его появилось знакомое ей презрительное и чуть-чуть актерское выражение.

Она с почтительной робостью посматривала на него. Ломан был весь в черном и не снял с головы котелка. Лицо его, чисто выбритое, казалось еще более желтым, черты заострились; взгляд его из-под темных и треугольных век был устремлен куда-то в пустоту. Она хотела, чтобы он взглянул на нее. Кроме того, ей ужасно хотелось знать, по-прежнему ли падает ему на лоб непокорная прядь.

— Почему вы не снимаете шляпу? — спросила она.

— Сам не знаю, сударыня. — Он послушно снял ее.

Да, шевелюра у него по-прежнему пышная, а на лоб ниспадает вьющаяся прядь.

Наконец-то он пристально на нее посмотрел.

— Во времена «Голубого ангела» вы меньше обращали внимания на внешние приличия, сударыня. Как все меняется. Как изменились мы. И за какие-нибудь два года.

Он снова отвел глаза и так явно задумался о чем-то другом, что она не посмела возражать, хотя его замечание и укололо ее. Может быть, он вовсе не ее имел в виду! А ей только померещилось.

Ломан имел в виду Дору Бретпот и думал сейчас, что она оказалась несколько не похожей на ту, что он носил в своем сердце. Он любил ее как светскую даму. Она и была первой дамой города. Как-то раз в Швейцарии она познакомилась с английской герцогиней, и это знакомство, казалось, сообщило и ей отблеск благодати. Отныне она как бы представляла в городе герцогиню. В том, что английская знать — первая в мире, никто не сомневался. Позднее, во время путешествия по Южной Германии, за нею волочился ротмистр из Праги, и австрийская знать тотчас же заняла место рядом с английской...

И как он этому доверился, как позволил внушить себе такую чепуху! Удивительно!

Но самое удивительное, что с тех пор прошло всего-навсего два года. Теперь весь город как-то сжался, словно он был из резины. Дом Бретпотов стал вполтину меньше, и в нем обитала заурядная провинциальная дамочка. Ну разве чуть-чуть повыше. Конечно, эта головка креолки и сейчас еще кажется вычеканенной на медали, но местный диалект в этих устах!.. И наряды по прошлогодней моде, вдобавок неправильно понятой. И еще хуже — неудачные попытки проявить собственный вкус и артистичность. Манера встречать вернувшихся из чужих краев так, словно они отовсюду навезли ей поклонов. И неоправданная претензия стоять выше толпы. От всего этого его коробило. А раньше, почему это не коробило его раньше? Правда, раньше она его и словом не удостоивала, едва его замечала. Гимназист! А теперь он мужчина, с ним кокетничают, стараются завлечь его в кружок, группирующийся вокруг собственной изящной особы.. Горечь подступала ему к горлу. Он вспоминал о старом ружье, всегда лежавшем наготове в ту пору, всерьез наготове, если кто-нибудь проникнет в его тайну. Он и сейчас еще испытывал меланхолическую гордость при мысли об этой мальчишеской страсти, которую он пронес до самого порога зрелости, пронес сквозь стыд, смехотворность, даже известную брезгливость. Вопреки Кнусту, фон Гиршке и другим. Вопреки многочисленному потомству любимой женщины. В ночь последних ее родов он благоговейно целовал дверь ее дома! Вот это было чувство, им и сейчас еще можно жить. Он понимал, что был тогда много лучше, много богаче. (Как мог он в ту пору чувствовать усталость? Вот теперь он устал.) Лучшее из всего, что он имел, досталось этой женщине, ни о чем даже не подозревавшей. А теперь, когда на сердце у него пусто, она его домогается.. Ломан любил ради смутных отголосков, что остаются в душе. Любовь — за горькое одиночество, которое ее сменяет,

счастье — за удушливую тоску, которая потом сжимает горло. Эта женщина, с душой без света и тени и плоско-претенциозными замашками, была ему нестерпима, в таком несоответствии находился ее образ с его тоской о былом чувстве. Он все ставил ей в вину, даже черты упадка, проступавшие в ее гостиной, — пока еще не в ней самой. Он знал о тяжелом положении Бретпота. Какие груды нежности сложил бы он к ее ногам, случись это двумя годами раньше. Теперь он видел только ее поползновения сохранить изящную непринужденность среди растущей нужды и заранее стыдился недостойного зазнайства, с которым она будет прятать и отрицать свою бедность. Он чувствовал себя оскорбленным, когда смотрел на нее, оскорбленным и униженным, когда ему уяснилось, что творится в нем самом. Чего только не делает с человеком жизнь! Он пал. И пала она. Уходя от нее, он с ужасающей ясностью ощутил, как быстро проходят годы; понял, что сейчас захлопнулась дверь за любовью, равнозначной кноти.

Это случилось утром, после его приезда. Выйдя от Бретпотов, он столкнулся с Эрцумом, а потом оба они встретили Гнусов на Зибенбергштрассе. В маленьком городке это было неизбежно. Как ни кратко было его пребывание здесь, до него уже дошли толки о Гнусе, и прыть этого старца вновь пробудила в нем интерес к людским странностям. Он понял, что Гнус дал созреть всему, что два года назад только чуть пробивалось в нем. Но еще великолепно развернулась артистка Фрелих. От певички из «Голубого ангела» до демимонденки высшего полета{30}! Во всяком случае, с первого взгляда она таковой казалась. При ближайшем рассмотрении в ней проступала мещанка. Но так или иначе она совершила все, что могла. А сколько прохожих снимали шляпы при встрече с этой четой! И какая унижительная похотливость везде, где слышался аромат ее духов! Она и город — ее публика; тут, видимо, шло какое-то обоюдное надувательство. Она стала строить из себя признанную красавицу, постепенно внушила это окружающим, а потом и сама им поверила. Не так ли обстояло в свое время и с Дорой Бретпот, претендовавшей на светский шик? Какая злая ирония, если он теперь займется этой Фрелих. Ему еще помнилось время, когда он воспевал в стихах их обеих и думал, что марает Дору Бретпот, когда, стремясь отомстить за свои страдания, с ее образом в сердце принимал порочные ласки другой. Порок? Теперь в сердце у него не было любви и он не понимал, что такое порок. Ожесточенье его против Доры Бретпот уже не будет на пользу госпоже Гнус. Ничто не шевельнется в его душе, когда они вдвоем пройдут мимо бретпотовского дома. Просто это будет значить, что он прогуливается с элегантною кокоткой по городу, в котором уже не обитает божество.

Эрцума лучше не брать с собой. Эрцум, едва завидев эту особу, начал отчаянно греметь саблей, и голос у него совсем охрип. Того и гляди, опять начнет прежнюю канитель. Для Эрцума все всегда остается как было, Ломан же, сидя в еще поутреннему пустой кондитерской бок о бок с артисткой Фрелих, потягивал из своей рюмки только смутные воспоминания о былом.

— Не подлить ли вам немножко коньяку в шоколад? — осведомился он. — Получится очень приятный напиток. — И добавил: — Чего-чего только я не наслышался о вас, сударыня.

— Что вы хотите этим сказать? — встрепелась артистка Фрелих.

— Говорят, что вы и наш старый Гнус перевернули вверх дном весь город и вызвали прямо-таки массовое бедствие.

— Ах, вы вот о чем! Ну, каждый делает что может. Людям у нас весело, хотя хозяйка я не ахти какая, хвалиться не буду.

— Да, говорят. И никто не понимает, что, собственно, движет Гнусом.

Предполагают, впрочем, что карты служат ему источником существования. Я лично думаю иначе. Мы-то с вами, сударыня, лучше знаем его.

Артистка Фрелих смешалась и не отвечала.

— Он тиран, и ему легче погибнуть, чем снести ограничение своей власти.

Насмешливая кличка — она и ночью проникает за пурпурный полог его кровати, лишает его сна, синие пятна выступают у него на лице, и, чтобы смыть их, ему нужна кровавая баня. Это он изобрел понятие «оскорбление величества», — во всяком случае, изобрел бы, не будь оно придумано до него{31}. Найдись человек,

преданный ему с безумной самоотверженностью, все равно он будет ненавидеть его как крамольника. Человеконенавистничество — мука, которая его гложет. Уже одно то, что человеческие легкие вдыхают и выдыхают воздух, который не он отпускает им, доводит его до нервного расстройства. Малейший толчок, случайное стечение обстоятельств, вроде разрушенного кургана и всего, что из этой истории проистекло, иными словами: неожиданное пробуждение — может быть, благодаря женщине — дремавших в нем задатков, и охваченный паникой тиран призовет чернь во дворец, подстрекнет ее на поджог, на убийство, провозгласит анархию. Артистка Фрелих сидела разинув рот, что доставляло Ломану немалое удовлетворенье. Дам, подобных ей, он любил занимать так, что им только и оставалось сидеть с разинутым ртом. Ломан и сам скептически улыбался. Ведь он лишь до крайности заострил абстрактную возможность, а вовсе не рассказал историю смешного старика Гнуса. Вдобавок он и посейчас смотрел на него снизу вверх — с парты на кафедру, — и ему трудно было представить себе в роли чудовищного человеконенавистника того, кто диктовал ему дурацкие измышленья относительно Орлеанской девы.

— Я отношусь к вашему супругу с глубочайшей симпатией, — улыбаясь, объявил Ломан, чем поверг в окончательное замешательство артистку Фрелих. — Ваша домовитость вызывает всеобщее восхищенье, — присовокупил он.

— Да, дом мы устроили прямо-таки шикарно! И вообще... — В артистке Фрелих взыграло тщеславие, и она оживилась. — Для гостей мы ничего не жалеем, и у нас иногда просто дым коромыслом стоит, вот бы вы посмеялись! Ах, если бы вы пришли, я бы в вашу честь спела песенку об обезьяньей самке! Вообще-то я ее не пою, потому что она, знаете ли, слишком уж смелая.

— Сударыня, вы бесподобны!

— Вы опять надо мной смеетесь?

— Вы меня переоцениваете. С той минуты, как я вас увидел, у меня прошла охота шутить. Да будет вам известно, сударыня, что в этом городе, кроме вас, ничто не заслуживает внимания.

— Ну и что дальше? — спросила она, польщенная, но, впрочем, нимало не удивляясь его словам.

— Уже один ваш туалет восхитителен. Суконное платье цвета резеды — это высший шик. И черная шляпка превосходно к нему подобрана. Разрешите мне одно только замечание: накидок из point lacé [9] в этом году больше не носят.

— Неужто? — Она придвинулась к нему поближе. — Вы наверняка знаете? И подумать, что этот поганец чуть не силком мне ее навязал. Хорошо еще, что я с ним не расплатилась. — Она покраснела и быстро добавила: — Заплатить-то я, конечно, заплачу, но носить — дудки! Сегодня в последний раз, можете быть уверены.

Она была счастлива возможностью ему поддакивать, подчиняться. Осведомленность Ломана касательно Гнуса довела ее почти до экзотического восторга. А теперь он оказался сведущим еще и по части дамских мод. Ломан опять заговорил с изысканной галантностью:

— Воображаю, чем вы должны были стать для этих провинциалов, сударыня! Властительницей над их жизнью и достоянием, боготворимой погубительницей сердец! Семирамидой {32}, да и только! В чаду восторга все так и рвутся в бездну, верно? — И, так как она явно ничего не поняла, добавил: — Я хочу сказать, что мужчины, вероятно, не заставляют себя долго просить, и вы, сударыня, надо думать, от всех без исключения получаете больше, чем вам нужно.

— Ну, это вы через край хватили. А вот что правда, то правда, мне здесь везет и многие меня любят. — Она пригубила из стаканчика: пусть знает! — Но если вы думаете, что я много чего себе позволяю, то уж простите меня и не воображайте, — она посмотрела ему прямо в глаза, — что каждый встречный и поперечный может вот так сидеть со мною за чашкой шоколада.

— Но мне-то ведь это разрешено? Значит, теперь пришел мой черед?

Он закинул голову и нахмурился. Смущенная артистка Фрелих не видела ничего, кроме его опущенных век.

— А ведь, если память мне не изменяет, я у вас должен был быть последним? Разве в свое время вы не сулили мне именно эту долю, сударыня? Следовательно, — он бросил на нее наглый взгляд, — надо полагать, что остальные уже свое получили? Она не обиделась, но огорчилась.

— Ах, глупости вы выдумываете, мало кто что брешет. Возьмем хоть Бретпота: говорят, что я его до нитки обобрала. А теперь он будто бы еще и деньги Эрцума на меня... ах, боже мой!

Она слишком поздно спохватилась и в испуге уставилась на свой шоколад.

— Да, это уж самое скверное, — жестко и мрачно отвечал Ломан. Он отвернулся, наступило молчанье.

Наконец артистка Фрелих, не без робости, начала:

— Тут не я одна виновата. Если бы вы знали, как он меня упрашивал. Ей-богу, точно ребенок. Старый хрыч, из него, можно сказать, песок сыплется. Вот вы не поверите, а ведь он хотел, чтобы я бежала с ним. И с его сахарной болезнью! Благодарю покорно!

Ломан, уже сожалеющий, что поддался порыву благородного негодования в самый разгар столь занимательного спектакля, сказал:

— Хотел бы я посмотреть на вечера, которые вы даете.

— В таком случае милости просим, — торопливо и радостно отвечала артистка Фрелих. — Приходите, я вас жду. Но сейчас мне пора идти, а вы оставайтесь здесь. Ах, бог ты мой, ничего у нас с вами не выйдет! — Она заметалась из стороны в сторону и горестно всплеснула руками. — Ничего не выйдет, потому что Гнус объявил: точка, новых гостей он принимать не будет. Один раз он мне закатил скандал. Поэтому, ах, да вы и сами понимаете...

— Отлично понимаю, сударыня!

— Ну, ну, уж он и губы надул! Можете прийти ко мне, когда никого не будет. Хотя бы сегодня в пять часов. А теперь до свиданья.

И она, шелестя юбками, торопливо скрылась за портьерой.

Ломан сам не понимал, как это случилось; как случилось, что его разобрала охота туда пойти. Или все гибельное неизбежно притягивает нас? Ведь Эрцум уже на краю гибели из-за этой забавной маленькой Киприды^{33} с ее незловивым простонародным цинизмом. Эрцум все еще любит ее. Но Эрцум за свои деньги, по крайней мере, будет счастлив. А он, Ломан, идет к ней без малейшей искорки в душе. Идет, чтобы занять место своего друга, которому оно принадлежит по праву долголетних мучений. Два года назад он не был бы на это способен. Ему вспомнилось, что в ту пору он испытывал даже нечто вроде сострадания к Гнусу, — старик, чья участь была уже предрешена, грозился выгнать его из гимназии, — и это было искреннее состраданье, лишненное какого бы то ни было злорадства. А теперь он идет к его жене. «Чего только не делает жизнь с человеком», — еще раз гордо и меланхолически подумал Ломан.

Из глубины квартиры доносилась громкая брань. Смущенная горничная распахнула перед ним дверь в гостиную. Глазам Ломана представилась артистка Фрелих в сильнейшем волнении и какой-то очень потный мужчина с листом бумаги в руках.

— Что вам здесь нужно? — спросил Ломан. — Ах так! И сколько же? Пятьдесят марок? И из-за этого такой шум?

— Я, сударь мой, — отвечал кредитор, — уже пятьдесят раз приходил сюда, по разу из-за каждой марки.

Ломан расплатился, и тот ушел.

— Не гневайтесь, сударыня, на мое вмешательство, — сказал он несколько натянутым тоном. Он оказался в ложном положении: то, что ему предстояло получить, теперь носило бы характер «услуги за услугу». Надо хотя бы увеличить сумму; пятьдесят марок — для этого он слишком тщеславен. — Поскольку я уже повел себя дерзко, сударыня... мне говорили, — не знаю, так это или не так, — что вы сейчас испытываете денежные затруднения...

Артистка Фрелих судорожно сцепила и тотчас же расцепила пальцы. Растерянно повела шеей под высоким воротником своего tea-gown.^[10] Нескончаемая возня с поставщиками, любовниками и процентщиками, наполнявшая всю ее жизнь, внезапно

возникла перед ее глазами; а тут ей протягивают бумажник, плотно набитый банкнотами!

— Сколько? — спокойно спросил Ломан, но тем не менее добавил: — Я сделаю все, что в моих силах.

Артистка Фрелих прекратила борьбу с собой. Нет, она не желает, чтобы ее покупали, а тем более Ломан.

— Все это неправда, — отвечала она, — я ни в чем не нуждаюсь.

— Пусть так. В противном случае я считал бы себя польщенным..

Он подумал о Доре Бретпот, о том, что она тоже нуждается теперь... Как знать? Не исключено, что и ее можно купить. Не желая лишать артистку Фрелих 10 Свободное платье, надеваемое к вечернему чаю дома (англ.).

возможности выбора, он положил открытый бумажник на стол.

— Давайте-ка сядем, — сказала она и, чтобы переменить разговор, заметила: — Однако бумажничек-то у вас тугой!

И, так как он холодно промолчал, добавила:

— Трудно вам будет отделаться от такой уймы денег, ведь вы даже колец не носите.

— А я, верно, и не отделаюсь. — И, не заботясь о том, понимает она его или не понимает, сказал: — Я не плачу женщинам, потому что считаю это для себя унижительным и вдобавок бессмысленным. Ведь с женщинами — как с произведениями искусства, за которые я готов отдать все на свете. Но разве произведением искусства можно обладать? Увидишь такой шедевр на выставке и уходишь с мечтой в душе. А дальше? Воротиться и купить? Но что купить? Мечта за деньги не продается, а на ее воплощение, право, не стоит тратиться.

Он хмуро отвернулся от бумажника. И тотчас же перевел свои слова на общедоступный язык:

— Я хочу сказать, что мне все быстро приедается.

Артистка Фрелих, с благоговением внимавшая своему идолу, тем не менее ощутила желанье блеснуть сарказмом:

— Так вы, верно, кроме еды и питья, ничего не покупаете?

— А что бы вы могли мне порекомендовать? — Он мрачно и дерзко посмотрел ей прямо в глаза, как бы спрашивая: «Может быть, мне купить вас, сударыня?» И, пожав плечами, сам же ответил на свои несказанные слова: — Чувственная любовь мне омерзительна.

Она вконец смешалась. Сделала робкую попытку посмеяться и сказала:

— Ах, что вы!

— Надо возвыситься над такими чувствами, — настаивал Ломан, — возвыситься и очиститься. Ездить, например, верхом, как Парцифаль {34}. Я думаю поступить в кавалерию и пройти высшую школу верховой езды. За исключением цирковых наездников, в Германии не наберется и сотни людей, владеющих этим искусством. Тут уж она откровенно рассмеялась.

— Ну, тогда вы станете циркачом, а значит, вроде как моим собратом. Смех да и только! — Она вздохнула. — Помните «Голубого ангела»? Ох, хорошие были времена! Ломан удивился.

— Возможно, — подумав, сказал он, — что тогда и вправду было хорошо. Все в целом!

— А сколько мы смеялись в «Голубом ангеле», и мне не приходилось воевать со всей этой сворой. Помните, мы с вами плясали, а потом явился Гнус, и вы улизнули через красное окно. А знаете, ведь он-то еще и сейчас на вас зол как черт, — она возбужденно засмеялась, — и мечтает сделать из вас котлету.

Разговаривая, она все время прислушивалась — не раздадутся ли шаги за дверью — и укоризненно смотрела на Ломана. Почему он все заботы взвалил на нее? Ну да ладно, она сама управится. Ломан не шел у нее из головы, хотя бы уже потому, что все остальные были ей дозволены, только он — нет. Это же невыносимо! К тому же упрямая похоть, благодаря недоверию и ожесточенной ненависти Гнуса сохранившаяся с прежних времен, со времен, о которых она вспоминала со вздохом, теперь, под влиянием своеобразной изысканности и необычности Ломана, сводила ее с ума.

Наконец, сама атмосфера вокруг артистки Фрелих была так насыщена порохом, что ожидание взрыва не могло не щекотать ей нервы.

— А какие вы тогда сочиняли чувствительные стихи, — сказала она. — Теперь уж вы, конечно, это оставили. Помните еще вашу песенку о луне, которую я тогда спела, а публика так по-идиотски ржала?

Она задумчиво оперлась о подлокотник кресла, приложила к груди правую руку и запела высоким, но тихим голосом:

Плывет луна, сияют звезды в небе...

Она пропела весь куплет, думая о том, что это единственная песня на свете, которую ей нельзя петь, и лицо Гнуса неотступно стояло перед ее глазами.

Страшное лицо, да еще нелепо поддурманенное, а в руках Гнус все время держал коробочку «bellet» с зеркальцем.

Рыдаю скорбно я в своем челне —

И смехом вторят звезды в вышине.

Раздосадованный Ломан пытался ее остановить, но она сразу начала второй куплет:

Плывет луна...

В это мгновение дверь с грохотом распахнулась и Гнус как тигр прыгнул в комнату.

Артистка Фрелих взвизгнула и бросилась в угол, за стул Ломана. Гнус молчал и задыхался; он выглядел точно так, как она себе его представляла во время пенья.

И глаза у него были вчерашние, дикие... «Почему он отказался от ромашкового настоя?» — в тоске подумала она.

Гнус же думал: «Всему конец!» Напрасны его усилия, напрасен невероятный труд карателя, если Ломан все-таки сидит у артистки Фрелих. Он, Гнус, противопоставил ее человечеству, он трудился в поте лица для того, чтобы отнятое у других досталось ей, а она сделала так, что самые мрачные его видения стали реальностью — Ломан, Ломан, в чертах которого воплотилось все наихудшее, все самое ненавистное, сидел у нее! Что ж теперь остается? С артисткой Фрелих кончено — значит, кончено и с Гнусом. Он должен приговорить к смерти ее, а следовательно, и самого себя.

Он не проронил ни слова и вдруг схватил ее за горло! При этом он хрипел так, словно это его душили. Чтобы перевести дыхание, он на секунду выпустил артистку Фрелих. Она воспользовалась этой секундой и крикнула:

— Ему противна чувственная любовь! Он сам сказал.

Гнус снова впился в нее. Но тут его схватили за плечи.

Ломан сделал это «для пробы». Он не был уверен, что в спектакле и ему достанется какая-то роль; все было точно во сне. Разве наяву такое возможно? В его разумном представлении своеобычное развитие Гнуса протекало гладко и в известной мере отвлеченно, как в книге. Рукоприкладство в нем не было предусмотрено. Ломан придумал интересную теорию касательно своего старика учителя; но он не знал души Гнуса — ее срывов в бездну, ее страшного горения и одиночества, тяжелого, как проклятие. Все это открылось Ломану слишком внезапно, и его охватил страх, страх перед действительностью.

Гнус обернулся к нему. Артистка Фрелих с визгом кинулась в соседнюю комнату и шумно захлопнула дверь. Первое мгновение Гнус был точно пьяный; но тут же весь подобрался и, тесня Ломана, начал кружить по комнате. Ломан, чтобы не стоять с растерянным видом, подошел к столу, взял свой бумажник и почему-то начал его поглаживать. «Что бы такое сказать? — думал он. — На кого похож этот человек! Не то паук, не то кошка, глаза сумасшедшие, по лицу катятся разноцветные капли пота, трясущиеся челюсти в пене. Не очень-то приятно, когда такое существо тебя преследует, протягивает к тебе свои искривленные щупальцы и что-то бормочет».

Гнус нечленораздельно бормотал:

— Несчастный... ты посмел... Взять его... наконец-то... пойман с поличным... за это отдашь... все отдашь...

Он вырвал из рук Ломана бумажник и бросился вон из комнаты.

Ломан не двигался с места, охваченный ужасом, ибо здесь совершилось преступление. Гнус, этот интересный анархист, совершил самое обычное преступление. Анархист — нравственное исключение, вполне понятная крайность;

преступление же — это только обостренное состояние общечеловеческих склонностей, и ничего примечательного в нем нет. Гнус только что пытался на глазах у Ломана задушить свою жену, а затем ограбил самого Ломана. Комментатор сбился с толку, у наблюдателя сбежала с лица благосклонная усмешка. Ум Ломана, никогда еще не подвергавшийся столь невероятным испытаниям, немедленно утратил свою незаурядность и на слово «преступление» ответил, вполне буржуазно, словом «полиция». Правда, он отдавал себе отчет, что идея эта не очень-то оригинальна, но тут же решил: «Хватит», — и разом отбросил все сомнения. Во всяком случае, поступь у него была твердая, когда он двинулся к двери в соседнюю комнату, желая убедиться, что она заперта. Он, правда, слышал, как артистка Фрелих повернула ключ, по считал своим долгом еще раз удостовериться, что после его ухода она не попадет в лапы своего преступного супруга... И Ломан убежал из их дома.

Прошло около часу времени, толпа на углу все разрасталась. Город ликовал, так как арест Гнуса был уже решенным делом. Наконец-то! Горожане освобождались от гнета собственной порочности вместе с устранением соблазна. Мало-помалу приходя в себя и оглядываясь на трупы вокруг, они понимали, что откладывать этот арест было уже невозможно. И почему, собственно, власти так долго мешкали? Телега, на которой высоко громоздились пивные бочки, загородила пол-улицы, мимо нее с трудом протиснулась карета с полицейскими чинами. За каретой бежала торговка фруктами; господин Дреге, бакалейщик, зачем-то приволок сюда резиновый шланг.

Толпа шумела перед домом Гнуса. Наконец появился он сам под конвоем полиции. Артистка Фрелих, вся в слезах, растерзанная, полуодетая, дрожащая от горя, раскаяния, исполненная небывалой покорности, цеплялась за него, висла на нем, казалось — стремилась слиться с ним воедино. Ее тоже арестовали, чего Ломан не предвидел. Гнус посадил ее в карету с опущенными занавесками на окнах; глаза его искали кого-то в орущей толпе. Возчик на телеге с пивом высунулся из-под кожаного навеса — физиономия у него была бледная, нахальная — и пискливым голосом крикнул:

— Гнуси-то, гнуси полна карета!

Гнус стремительно оборотился на «это имя» — оно уже опять было не венком победителя, а комом грязи — и узнал Кизелака. Вытянув шею, задыхаясь, старик погрозил своему бывшему ученику кулаком. Но струя воды, пущенная из шланга господина Дреге, ударила ему в рот. Он захлебнулся, кто-то толкнул его в спину, и, оступившись на подножке кареты, он навзничь упал в темноту к ногам артистки Фрелих.